

А. П. ЧЕХОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

СБОРНИК

Под редакцией
А. К. КОТОВА

О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 4 7

А. П. ЧЕХОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ

I

24 января 1889 года я получила записочку от сестры: «Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов». Сестра была замужем за редактором-издателем очень распространенной газеты¹. Она была много старше меня. Маленькая, белокуренькая, с большими мечтательными глазами и крошечными ручками и ножками, она всегда возбуждала во мне чувства нежности и зависти. Рядом с ней я казалась самой себе слишком румяной, высокой и полной... Кроме того, я была москвичкой и только второй год жила в Петербурге. У нее бывали многие знаменитости: артисты, художники, певцы, поэты, писатели. Да и ее прошлое, ее замужество по любви с «увозом» прямо с танцевального вечера, в то время как отец, ненавидевший ее избранника, особенно зорко наблюдал за ней, все это окружало ее в моих глазах волшебным ореолом. Я была замужем за только что окончившим студентом, занимавшим теперь должность младшего делопроизводителя департамента народного просвещения. Что было в моем прошлом? Одни несбывшиеся мечты...

Была мечта — сделаться писательницей. Я писала стихами и прозой с самого детства. Я ничего в жизни так не любила, как писать. Художественное слово было для меня силой, волшебством, и я много читала, а среди моих любимых авторов далеко не последнее место занимал Чехонте, он печатался, между прочим, и в газете, издаваемой моим зятем, и каждый его рассказ возбуж-

дал мой восторг. Как я плакала над Ионой², который делился своим горем с своей клячей, потому что никто больше не хотел слушать его. А у него умер сын. Только один сын у него и был и — умер. И никому это не было интересно. Почему же теперь, когда Чехов это написал, всем стало интересно, и все читали и многие плакали? О, могущественное, волшебное художественное слово.

«Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов». Я сама кормила своего сынишку Левушку, которому было уже девять месяцев, но весь вечер я могла быть свободна, так как после купанья он долго спокойно спал, да и няня у меня была надежная. Она и меня вынянчила в свое время.

Миша (муж) был занят, да его и не интересовало знакомство с Чеховым, и я ушла одна.

Он ходил по кабинету и, кажется, что-то рассказывал, но, увидев меня в дверях, остановился.

— А, девица Флора, — громко сказал Сергей Николаевич, мой зять. — Позвольте, Антон Павлович, представить вам девицу Флору. Моя воспитанница.

Чехов быстро сделал ко мне несколько шагов и с ласковой улыбкой удержал мою руку в своей. Мы глядели друг на друга, и мне казалось, что он был чем-то удивлен. Вероятно, именем Флоры. Меня Сергей Николаевич так называл за яркий цвет лица, за обилие волос, которые я иногда заплетала в две длинные, толстые косы.

— Знает наизусть ваши рассказы, — продолжал Сергей Николаевич, — и, наверное, писала вам письма, но скрывает, не признается.

Я заметила, что глаза у Чехова точно с прищипочкой, а крахмальный воротник хомутом и галстук некрасивый.

Когда я села, он опять стал ходить и продолжать свой рассказ. Я поняла, что он приехал ставить свою пьесу «Иванов»³, но что он очень недоволен артистами, не узнает своих героев и предчувствует, что пьеса провалится. Он признавался, что настолько волнуется и огорчается, что у него показывается горлом кровь. Да

и Петербург ему не нравится. Поскорее бы все кончить и уехать, а впредь он дает себе слово не писать больше для театра. А ведь артисты прекрасные и играют прекрасно, но что-то чуждое для него, «свое» играют.

Вошла сестра Надя и позвала всех к ужину. Сергей Николаевич поднялся, и вслед за ним встали и все гости. Перешли в столовую. Там были накрыты два стола: один, длинный, для ужина, а другой был уставлен бутылками и закусками. Я встала в сторонке у стены. Антон Павлович с тарелочкой в руке подошел ко мне и взял одну из моих кос.

— Я таких еще никогда не видел, — сказал он. — А я подумала, что он обращается со мною так фамильярно только потому, что я какая-то девица Флора, воспитанница. Вот если бы он знал Мишу и знал бы, что у меня почти годовалый сын, тогда...

За столом мы сели рядом.

— Она тоже пописывает, — снисходительно сообщил Чехову Сергей Николаевич. — И есть что-то... Искорка... И мысль... Хоть с куриный нос, а мысль в каждом рассказе.

Чехов повернулся ко мне и улыбнулся.

— Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь, правдиво, искренно. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю. Мое дело писать. И я могу писать про все, что вам угодно, — прибавил он с улыбкой. — Скажите мне написать про эту бутылку и будет рассказ под таким заглавием: «Бутылка». Живые образы создают мысль, а мысль не создает образа.

И выслушав какое-то льстивое возражение от одного из гостей, он слегка нахмурился и откинулся на спинку стула.

— Да, — сказал он, — писатель это не птица, которая щебечет. Но кто же вам говорит, что я хочу, чтобы он щебетал? Если я живу, думаю, борюсь, страдаю, то все это отражается на том, что я пишу... Я правдиво, то есть художественно опишу вам жизнь, и вы увидите в ней то, чего раньше не видели, не замечали: ее отклонение от нормы, ее противоречия... — Он неожиданно повернулся ко мне.

— Вы будете на первом представлении «Иванова»?— спросил он.

— Вряд ли. Трудно будет достать билет.

— Я вам пришлю, — быстро сказал он. — Вы здесь живете? У Сергея Николаевича?

Я засмеялась.

— Наконец я могу сказать вам, что я не девица Флора и не воспитанница Сергея Николаевича. Это он так зовет меня в шутку. Я сестра Надежды Алексеевны, и, вообразите, замужем и мать семейства. И так как я кормлю, я должна спешить домой.

Сергей Николаевич услышал, что я сказала, и закричал мне:

— Девица Флора, придут за тобой, если нужно. Мы живем в двух шагах, — объяснил он Антону Павловичу. — Сиди. Спит твой пискун. Антон Павлович, не пускайте ее.

Антон Павлович нагнулся и заглянул мне в глаза. Он сказал:

— У вас сын? Да? Как это хорошо.

Как трудно иногда объяснить и даже уловить случившееся. Да в сущности ничего и не случилось. Мы просто взглянули близко в глаза друг другу. Но как это было много. У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась, что с Антоном Павловичем случилось то же, и мы глядели друг на друга удивленные и обрадованные.

— Я опять сюда приду, — сказал Антон Павлович. — Мы встретимся? Дайте мне все, что вы написали или напечатали. Я все прочту очень внимательно. Согласны?

Когда я вернулась домой, Левушку уже пеленала няня, и он кричал и морщился, собираясь плакать.

— У меня сын? Как это хорошо, — сказала ему я, смеясь и радуясь.

Мнша вошел в детскую следом за мной.

— Взгляни на себя в зеркало, — сердито сказал он. — Раскраснелась, растрепалась. И что за манера носить косы. Хотела поразить своего Чехова. Левушка плачет, а она, мать, с беллетристами кокетничает.

Слово «беллетрист» было у Мнши синонимом пустобреха. Я это знала.

— Чехов — беллетрист? — сухо спросила я.

И я чувствовала, как я потухала. Чувствовала, как безотчетная радость, так празднично осветившая весь мир, смиренно складывала крылья... Кончено. Все по-прежнему. Почему жизнь должна быть легка и прекрасна? Кто это обещал?..

II

Прошло уже три года с моего первого свидания с Чеховым. Я часто вспоминала о нем и всегда с легкой мечтательной грустью. У меня было уже трое детей: Лева, Лодя и грудная Ниночка. Миша был примерным отцом. Чтобы увеличить средства к жизни, он взял еще вечернюю работу, а все свободное время возился и нянчился с детьми.

Несомненно, наше семейное счастье окрепло. Миша как-то сказал мне:

— Ну, что, мать! Пришили тебе хвост?

Я хотела заниматься литературой. Гольцев как-то предложил мне принести ему все, что я написала, и затем стал заставлять меня работать. Он объяснял мне недостатки моих рассказов и требовал, чтобы я их перерабатывала. Иногда он говорил мне: «Это совсем хорошо, можно было бы даже напечатать, но вам еще рано. Поработайте».

Когда я ему сказала, что выхожу замуж, он огорченно воскликнул:

— Ну, теперь кончено. Теперь из вас ничего не выйдет.

А я тогда дала себе слово, что ничего не «кончено», что я буду работать и что замужество ничему не помешает. Но я ошиблась. Сразу жизнь сложилась так, что у меня совсем не было времени. Миша до обеда был в департаменте. Казалось бы, я могла быть свободной и делать то, что я хочу, тем более, что у меня была прислуга, но это только так казалось. Весь день уходил на мелочи: я должна была идти за покупками и брать припасы именно там, где назначал Миша: кофе на Морской, сметану на Садовой, табак на Невском, квас на Моховой и т. д.

И должна была делать соус к жаркому сама, а не поручать это дело кухарке; я должна была набить папиросы. И еще главной заботой моей жизни были — двери. Двери должны были быть плотно закрыты весь день, чтобы из кухни не проникал чад, и настежь открыты вечером, чтобы воздух сравнялся. И горе мне, если, возвращаясь со службы, Миша улавливал малейший запах из кухни. Вечером, когда Миша садился писать свою диссертацию, я устраивалась в спальне и принималась за свою рукопись, но сейчас же раздавался окрик:

— Зачем дверь в спальню закрыта? Открой. Да ты что там делаешь? Иди ко мне.

— Мне хочется писать.

— Тебе только хочется, а мне надо. И я тут запутался в предложении. Помоги — как мне выбраться, беллетристика.

Потом он начинал ходить по комнате и свистеть «Стрелочка».

Когда я ему предложила разойтись, он сказал:

— Из-за чего? Подумай. Ведь все наши недоразумения и ссоры из-за твоего упрямства. Ты привыкла жить безалаберно, руководствуясь только капризом. Ты считаешь это свободой, а я беспорядком. У меня скучнейшая служба, потому что ты пожелала жить в городе, а не в деревне, где я мог бы заниматься хозяйством. Я с этим помирился. Почему ты не можешь помириться с тем, что тебе приходится держать дом в порядке? Неужели ты можешь требовать, чтобы я только восхищался твоей красотой и говорил тебе любезности? И ты хочешь разводиться? Из-за чего? Стыдно..

Я отлично знала, что он любит меня больше, а не меньше прежнего, что он жить без меня не может. А кроме того, мы уже знали, что у нас будет Левушка и с одинаковым умилением и нетерпением ждали его.

И его рождение внесло «семейное счастье». Мы стали менее упорно бороться друг с другом, стали уступчивее. Явилось еще двое детей, и уж не могло быть речи о том, чтобы мы разъехались или развелись. Мне «прищипнули хвост», а Мише пришлось очень много работать, чтобы содержать семью.

В эти три года мы очень сжились, сдружились, и мне стало гораздо легче сносить припадки гнева Миши, тем более, что он всегда в них горько раскаивался и старался загладить свою вину. Он даже почти не мешал мне писать в свободное время, а я начала печататься, и теперь жизнь казалась мне полной и часто, когда дети не болели, счастливой.

Было только скучно.

III

В январе 1892 года Сергей Николаевич праздновал 25-летний юбилей своей газеты. Торжество должно было начаться молебном, а затем приглашенные должны были перейти в гостиную, где накрыт длиннейший стол для обеда. В столовой гости не поместились бы, и поэтому там все было приготовлено для церковной службы.

Из гостиной в столовую проходили вдоль балюстрады лестницы из передней. А против лестницы было вделано в стену громадное зеркало. Я встала у дверей гостиной и могла, не отражаясь сама в зеркале, видеть в нем всех, кто поднимался, до того, как они показывались на площадке. Шли мужчины и женщины, много знакомых, много незнакомых, и я с тоской думала о том, какой скучный предстоял день. Посадят меня за стол с каким-нибудь важным гостем, которого я должна буду занимать, а обедать будут долго, долго, часами, и все надо будет ухитряться находить темы для разговора, казаться оживленной и любезной.

И вдруг я увидела в зеркале две поднимающиеся фигуры. Случается, что один взгляд снимает моментальную фотографию и сохраняет ее в памяти на всю жизнь. Я как сейчас вижу непривлекательную голову Суворина, а рядом молодое, милое лицо Чехова. Он поднял правую руку и откинул назад прядь волос. Глаза его были чуть прищурены, и губы слегка шевелились. Вероятно, он говорил, но я не могла этого слышать. Они поспели к самому началу молебна. Все столпились в столовой, слышалось пение, тогда я тоже вмешалась в толпу. И пока служили и пели, я вспоминала мою первую встречу

с Антоном Павловичем, то необъяснимое и нереальное, что вдруг сблизило нас, и старалась угадать, узнает ли он меня? Вспомнит ли? Возникнет ли опять между нами та близость, которая три года назад вдруг так ярко осветила мою душу?

Мы столкнулись в толпе случайно и сейчас же радостно протянули друг другу руки.

— Я не ожидала вас видеть, — сказала я.

— А я ожидал, — ответил он. — И знаете что? Мы опять сядем рядом, как тогда. Согласны?

Мы вместе прошли в гостиную.

— Давайте выберем место?

— Бесполезно, — ответила я. — Вас посадят по чину, к сонму светил; одним словом, поближе к юбиляру.

— А как было бы хорошо здесь — в уголке, у окна. Вы не находите?

— Хорошо, но не позволят. Привлекут.

— А я упрюсь, — смеясь сказал Чехов. — Не поддамся.

Мы сели, смеясь и подбадривая друг друга к борьбе.

— А где же Антон Павлович? — раздался громкий вопрос Сергея Николаевича. — Антон Павлович! Позвольте вас просить...

Надя тоже искала глазами и звала.

Чехов приподнялся и молча провел рукой по волосам.

— Ах, вот они где. Но и вашей даме здесь место рядом с вами. Прошу.

— Да пусть, как хотят, — неожиданно сказала Надя. — Если им там больше нравится...

Сергей Николаевич засмеялся, и нас оставили в покое.

— Видите, как хорошо, — сказал Антон Павлович. — Победили.

— Вы многих тут знаете? — спросила я.

— А не кажется вам, — не отвечая, заговорил Антон Павлович, — не кажется вам, что когда мы встретились с вами три года назад, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?

— Да... — нерешительно ответила я.

— Конечно, да. Я знаю. Такое чувство может быть только взаимное. Но я испытал его в первый раз и не мог забыть. Чувство давней близости. И мне странно, что я все-таки мало знаю о вас, а вы — обо мне.

— Почему странно? Разлука была долгая. Ведь это было не в настоящей, а в какой-то давно забытой жизни?

— А что же мы были тогда друг другу? — спросил Чехов.

— Только не муж и жена, — быстро ответила я.

Мы оба рассмеялись.

— Но мы любили друг друга. Как вы думаете? Мы были молоды... И мы погибли... при кораблекрушении? — фантазировал Чехов.

— Ах, мне даже что-то вспоминается, — смеясь, сказала я.

— Вот видите. Мы долго боролись с волнами. Вы держались рукой за мою шею.

— Это я от растерянности. Я плавать не умела. Значит, я вас и потопила.

— Я тоже плавать не мастер. По всей вероятности, я пошел ко дну и увлек вас с собой.

— Я не в претензии. Встретились же мы теперь как друзья.

— И вы продолжаете вполне мне доверять?

— Как доверять? — удивилась я. — Но ведь вы меня потопили, а не спасли.

— А зачем вы тянули меня за шею?

Антон Павловича не забывали присутствующие. Его часто окликали и обращались к нему с вопросами, с приветствиями, с комплиментами.

— Я сейчас говорю соседу: «какая конфетка ваш рассказ...»

Эта «конфетка» нас ужасно рассмешила, и мы долго не могли смотреть друг на друга без смеха.

— А как я вас ждала, — вдруг вспомнила я. — Как я вас ждала. Еще когда жила в Москве, на Плющихе. Когда еще не была замужем.

— Почему ждали? — удивился Антон Павлович.

— А потому, что мне ужасно хотелось познакомиться с вами, а товарищ моего брата, Попов, сказал мне, что часто видит вас, что вы славный малый и не откажетесь по его просьбе прийти к нам. Но вы не пришли.

— Скажите этому вашему Попову, которого я совершенно не знаю, что он мой злейший враг, — серьезно сказал Чехов.

И мы стали говорить о Москве, о Гольцеве, о «Русской мысли».

— Не люблю Петербурга, — повторил Чехов. — Холодный, промозглый весь насквозь. И вы недобрая: отчего вы не прислали мне ничего? А я вас просил. Помните? Просил прислать ваши рассказы?

Стали подходить чокаться... Антон Павлович вставал, откидывал волосы, слушал, опустив глаза, похвалы и пожелания. И потом садился со вздохом облегчения.

— Вот она — слава, — заметила я.

— Да чорт бы ее побрал. А ведь большинство ни одной строчки не прочли из того, что я написал. А если и читали, то ругали меня. А мне сейчас не слов хочется, а музыки. Почему нет музыки? Румын бы сюда. Необходима музыка. Вам сколько лет? — спросил он неожиданно.

— Двадцать восемь.

— А мне тридцать два. Когда мы познакомились, нам было на три года меньше: двадцать пять и двадцать девять. Как мы были молоды.

— Мне тогда еще не было двадцати пяти, да и теперь нет двадцати восьми. В мае будет.

— А мне было тридцать два. Жалко.

— Мне муж часто напоминает, что я уже не молода, да и всегда набавляет мне года. Вот и я немного набавляю.

— Не молоды? В двадцать семь лет?

Стали вставать из-за стола. Обед тянулся часа три, для меня прошел быстро. Я увидела Мишу, который пробирался ко мне, и сразу заметила, что он очень не в духе.

— Я еду домой. А ты?

Я сказала, что еще останусь.

— Понятно, — сказал он, но мне показалось нужным познакомить его с Чеховым.

— Это мой муж, Михаил Федорович, — начала я.

Оба протянули друг другу руки. Я не удивилась сухому, почти враждебному выражению лица Миши, но меня удивил Чехов: сперва он будто пытался улыбнуться, но улыбка не вышла, и он гордым движением откинул голову. Они не сказали ни слова, и Миша сейчас же отошел.

Я осталась, но не надолго: гости стали поспешно расходиться.

А дома меня ждала гроза. Мише очень не понравилась наша оживленная беседа за столом, очень не понравилось, что мы не сели там, где нам было назначено.

Но я тогда не ожидала, что еще ждет меня.

Какой-то услужливый приятель насплетничал Мише, что в вечер юбилея Антон Павлович кутил со своей компанией в ресторане, был пьян и говорил, что решил во что бы то ни стало увезти меня, добиться развода, жениться. Его будто бы очень одобряли, обещали ему всякую помощь и чуть ли не качали от восторга. Миша был вне себя от возмущения.

Я была ошеломлена, убита. Но когда немного успокоилась и была в состоянии думать, я сказала себе: а все-таки этого не может быть. Это чья-то злобная выдумка, чтобы очернить в моих глазах Чехова и восстановить против него Мишу. Кому это могло быть нужно? Я решила, что Миша мог слышать эту сплетню только от двух лиц. Одно было вне всяких подозрений, другое... И сейчас же мне вспомнилось, что это другое лицо сидело за юбилейным столом наискось от нас и, повидимому, очень скучало. Он был писатель и печатал толстые романы, но никаких почестей ему не оказывали и даже на верхний конец стола не посадили. К Чехову он обращался с чрезвычайным нодобострастием и выражал ему свои восторги, но не было никакого сомнения, что он завидует ему до ненависти, в чем я впоследствии убедилась.

После обеда он сказал мне мимоходом:

— Я никогда не видал вас такой оживленной.

«Он,— решила я.— Конечно, несомненно — он. Выдумал, насплетничал...» Я справилась и узнала, что действительно он участвовал на ужине юбилея. Я сказала о своих предположениях Мише.

— Наврал? Возможно. Да, это он мне рассказывал, — признался Миша. — Но ведь это известная скотина.

Я почувствовала большое облегчение.

Прощаясь, я дала слово Антону Павловичу написать ему и прислать свои рассказы, и теперь я решила, что

это можно сделать, но все-таки в письме упрекнула его. Он сейчас же ответил мне:

«Ваше письмо огорчило меня и поставило втупик. Что сей сон значит? Мое достоинство не позволяет мне оправдываться, к тому же обвинение Ваше слишком неясно, чтобы в нем можно было разглядеть пункты для самозащиты. Но сколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне. Так, что ли?»

Убедительно прошу вас (если вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам) не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге. Или же, если нельзя не верить, то уж верьте всему и в розницу и оптом: и моей женитьбе на миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей и т. д. Успокойтесь, бога ради. Впрочем, бог с вами. Защищаться от сплетни... бесполезно. Думайте про меня, как хотите...

...Живу в деревне. Холодно. Бросаю снег в пруд и с удовольствием помышляю о своем решении никогда не бывать в Петербурге»⁴.

С этих пор началась наша переписка с Антоном Павловичем. Но меня ужасно огорчало его решение никогда больше не приезжать в Петербург. Значит, мы больше никогда с ним не увидимся? Не будет больше этих ярких праздников среди моей «счастливой семейной жизни»?

И каждый раз при этой мысли больно сжималось сердце.

IV

В те случайные промежутки, когда у нас в доме было вполне благополучно: дети здоровы, Миша спокоен и в духе, я часто думала о том, что я пользуюсь в настоящее время самым большим счастьем, которое суждено мне судьбою. Правда, радовали еще успехи по литературе, были письма Чехова. Но писать мне удавалось не много и не часто, потому что дети неизбежно хворали, то врозь, то все вместе, и тогда я могла думать только о них, отдавать все свое время и днем, и ночью только им. Да и мишин несчастный характер прорывался против его воли так неожиданно, что остережся и

убережешься было невозможно. И это делало меня всегда счень несчастной.

Письма Анто́на Павловича я получала тайком, через почтовое отделение, до востребования и делала это потому, что боялась, как бы письмо не пришло в мое отсутствие и не попало бы в недобрый час. Но Миша знал о нашей переписке, и я иногда давала ему читать некоторые письма.

— Ты видишь, как они мне полезны. Я пользуюсь его советами...

— Воображаю, какую ахинею ты ему пишешь. Вот что я желал бы почитать. Дай как-нибудь. Дашь?

Нет, я не дала.

Как-то зашла ко мне сестра Надя и сказала с хитрой улыбкой:

— Постарайся притти к нам сегодня вечером без Миши. Смотри, только без Миши.

— Почему? — удивилась я.

— А вот увидишь. Знаешь, что я выдумала? Ни за что не угадаешь. Скучную историю.

— Не понимаю.

— Ну, «Скучную историю»⁶. Ведь ты читала же.

— Конечно. Но что же ты могла выдумать?

— Помнишь, там: бутылка шампанского, сыр...

— Да ты сегодня ждешь... Чехова?

Я чувствовала, как вся кровь бросилась мне в лицо. Надя засмеялась.

— Потому я и прошу: приходи без Миши. Даже Сережи не будет, он вернется только к двенадцати, и ужинать мы будем все вместе. Придет еще кто-то...

— У Миши сегодня вечер не свободен, спешная работа, — сказала я.

— Отлично. Будет очень уютно.

Я сказала Мише, что иду «на Чехова». Он нахмурился, но промолчал. Ему нельзя было не пустить меня: это возбудило бы слишком много толков, а он этого боялся.

Анто́на Павловича не было, когда я пришла к Наде. Она сидела у себя в комнате в капоте и писала. И опять у нее был хитрый вид.

В это время доложили, что пришел Анто́н Павлович Чехов.

— Ах, а мне еще надо одеться. — Иди, Лида, займи его.

Я пошла. Он стоял в кабинете.

— А как же ваше решение не бывать больше в Петербурге?

— Я, видно, человек недисциплинированный, безвольный. У вас расстроенный вид... Вы здоровы? Все благополучно?

— И здорова, и благополучно, и все хорошо.

Мы сели к круглому столу, на котором стоял поднос с куском сыра и фруктами. Бутылки еще не было.

— Да, я опять в Петербурге... И, вообразите, опять хочется писать пьесу...

Надя вышла не скоро. Мы успели поговорить о театре, о журналах, о редакторах, к которым он меня усиленно посылал.

Принесли замороженную бутылку.

— Вы узнаете? — спросила Надя, указывая на поднос.

Он сразу не понял.

— «Скучная история», — напомнила Надя.

Он улыбнулся и откинул прядь волос.

— Да, да...

Скоро в кабинет стали входить гости.

— А Сергей Николаевич только к двенадцати, — говорила Надя.

Разговор стал общим.

Вдруг я спросила Антона Павловича:

— А вы еще не видали Чехова?

— Кого? — удивился он.

— Чехова. Вы когда приехали?

— Я приехал вчера, — отвечал он, — но я сам Чехов.

Я сконфузилась.

— Лейкина, Лейкина! — закричала я. — Я знаю, что вы Чехов.

Все засмеялись, а Антон Павлович смеялся и смотрел, как я краснею до слез.

— Нет, я еще не видел Лейкина, — сказал он. — Ведь вы про Лейкина? Наверно, про Лейкина? Не про кого другого?

Я тоже начала смеяться и вдруг испугалась, что не

смогу остановиться и заплачу, и потихоньку вышла из комнаты.

Когда я вернулась, Чехов встал и пошел мне навстречу. Мы поговорили стоя и как-то незаметно перешли в гостиную.

— Расскажите мне про ваших детей, — просил Антон Павлович.

О, это я делала охотно.

— Да, дети... — задумчиво сказал Чехов. — Хороший народ. Хорошо иметь своих... иметь семью...

— Надо жениться.

— Надо жениться. Но я еще не свободен. Я не женат, но и у меня есть семья: мать, сестра, младший брат. У меня обязанности.

— А вы счастливы? — спросил он вдруг.

Меня этот вопрос застал врасплох и испугал. Я остановилась, облокотившись спиной о рояль, а он остановился передо мной.

— Счастливы? — настаивал он.

— Но что такое счастье? — растерянно заговорила я. — У меня хороший муж, хорошие дети. Любимая семья. Но разве любить — это значит быть счастливой? Я в постоянной тревоге, в бесконечных заботах. У меня нет покоя. Все силы своей души я отдала случайности. Разве от меня зависит, чтобы все были живы, здоровы? А в этом для меня теперь все... Я сама по себе постепенно перестаю существовать. Меня захватило и держит. Часто с болью, с горьким сожалением думается, что моя-то песенка уже спета... Не быть мне ни писательницей, ни... Да ничем не быть. Покоряться обстоятельствам, мириться, уничтожаться. Да, уничтожаться, чтобы своими порывами к жизни, более широкой, более яркой, не повредить семье. Я люблю ее. И скоро, очень скоро я покорюсь, уничтожусь. Это счастье?

— Это ненормальность устройства нашей семьи, — горячо заговорил Чехов. — Это зависимость и подчиненность женщин. Это то, против чего необходимо восстать, бороться. Это пережиток... Я отлично понимаю все, что вы сказали, хотя вы и не договариваете. Знаете: напишите вашу жизнь. Напишите искренно и правдиво. Это нужно. Это необходимо. Вы можете это сделать так, что поможете не только себе, но и многим другим. Вы обя-

заны это сделать, как обязаны не только не уничтожаться, а уважать свою личность, дорожить своим достоинством. Вы молоды, вы талантливы... О, нет. Семья не должна быть самоубийством для вас... Вы дадите ей много больше, чем если будете только покоряться и мириться. Что вы, бог с вами.

Он повернулся и стал ходить по комнате.

— Я сегодня нервна. Я, конечно, многое преувеличила...

— Если бы я женился, — задумчиво заговорил Чехов, — я бы предложил жене... Вообразите, я бы предложил ей не жить вместе. Чтобы не было ни халатов, ни этой... распушенности... и возмутительной бесцеремонности.

И вдруг мне сказали:

— Лидия Алексеевна. За вами прислали из дома.

— Что случилось? — вздрогнув, вскрикнула я.

— Левушка, кажется, прихворнул. Анюта прибежала.

— Антон Павлович, голубчик... Я не вернусь туда прощаться. Вы объясните Наде. До свидания.

Я вся дрожала.

Он взял мою руку.

— Не надо так волноваться. Может быть, все пустяки. С детьми бывает... Успокойтесь, умоляю вас.

Он шел со мной вниз по лестнице.

— Завтра дайте мне знать, что с мальчиком. Я зайду к Надежде Алексеевне. Дома выпейте рюмку вина.

Анюта спокойно стояла в передней.

— Что севой?

— Да барин меня за вами послал, чтобы вы домой.

— Что у Левы болит?

— Знаю только, что он проснулся и стал просить пить. А не жаловался. Барин пришел...

Миша сам открыл мне дверь.

— Ничего, ничего, — смущенно заговорил он. — Он уже опять спит и, кажется, жару нет. Без тебя я встревожился. Без тебя я не знаю, что делать. Пил почему-то. Разве он ночью пьет? Про тебя спросил: где мама? Видишь, мать, без тебя мы сироты.

Он пошел со мною в детскую. Лева спокойно спал. Никакого жара у него не было.

Миша крепко обнял меня не отпуская.

— Ты моя благодетельная фея. При тебе я спокоен и знаю, что все в порядке.

Мне вспомнилось, как он за обедом разбросал по полу все оладьи потому, что, по его мнению, они не были достаточно мягкими и пухлыми: «Ими только в собак швырять».

— А ты представляешь себе, как ты меня испугал?..

— Ну, прости. Сердишься? Уж такая ты у меня строгая. Держишь меня в ежовых. А я все-таки без тебя жить не могу. Ну, прости. Ну, поговорим... Весь вечер без тебя...

А я уже знала теперь. В первый раз, без всякого сомнения, определенно, ясно, я знала, что люблю Антона Павловича.

V

Была масленица. Одна из тех редких петербургских маслениц — без оттепели, без дождя и тумана, а мягкая, белая, ласковая.

Миша уехал на Кавказ, и у нас в доме было тихо, спокойно и мирно.

В пятницу у Лейкиных должны были собраться гости, и меня тоже пригласили. Жили они на Петербургской, в собственном доме.

Я сперва поехала в театр, кажется на Итальянскую оперу, где у нас был абонемент. К Лейкиным попала довольно поздно. Меня встретила в передней Прасковья Никифоровна, нарядная, сияющая и, как всегда, чрезвычайно радушная.

— А я боялась, что вы уже не приедете, — громко заговорила она, — а было бы жаль, очень жаль. Вас ждут, — шепнула она, но так громко, что только переменялся звук голоса, а не сила его.

— Я задержала? Кого? Что?

— Ждут, ждут...

— Блины? Неужели у вас блины?

— А как же? А как же? — и она расхохоталась и потащила меня за руку в кабинет Николая Александровича. Там было много народу. Лейкин встал и заковылял мне навстречу.

— Очень вы поздно. А-а, в театре были... А муж ваш на Кавказе? Кажется, вы со всеми знакомы? Потапенко, Альбов, Грузинский⁶, Баранцевич...

— Рыбы стоны! — закричала Прасковья Никифоровна и захохотала.

Оставался еще один гость, которого не назвали. Он встал с дивана и остался в стороне. Я обернулась к нему.

— Блин! — крикнула Прасковья Никифоровна. — Вот это блин и есть.

Мы молча пожали друг другу руки.

— Ты, Прасковья Никифоровна... Почему блин? Почему Антон Павлович блин? — недоумевал Николай Александрович.

Все опять заняли свои места.

— Вот я говорю, — возобновляя прерванный разговор, заговорил Николай Александрович, обращаясь ко мне, — я ему говорю, — кивнул он на Чехова, — что жалко, что он со мной не посоветовался, когда писал свой последний рассказ. Что ж. Я не говорю. Он написал хорошо, но я бы написал иначе. И было бы еще лучше. Помните у меня: видны из подвального этажа только идущие ноги: прошмыгали старые калоши... просемерили дамские туфельки, пробежали рваные детские башмаки. Ново. Интересно. Надо уметь сделать рассказ. Я бы сделал иначе.

Антон Павлович улыбнулся.

— Ваш подвальный этаж вам чрезвычайно удался, — заметил кто-то из гостей.

И сейчас же образовался целый хор хвалителей. Вспоминали другие рассказы, смеялись, удивлялись юмору. А мне вспомнились слова Нади: «Ты знаешь? Он совсем не думает, что пишет смешное. Он думает, что пишет очень серьезно. Ведь он описывает с натуры, со своих и женных родственников. Даже с себя. Выходит очень смешно, а ему кажется, что это серьезно. Он сам не замечает смешного, почему он пишет, а не торгует в лавке? Станный талант».

Скоро позвали ужинать. Было всего очень много: и закусок, и еды, и водки, и вин, но больше всего было шума. Только один хозяин сидел серьезный и как бы подавленный своими заслугами и как литератор и как думский деятель и как гостеприимный домовладелец. Он только нахваливал подаваемые блины и все сравнивал с Москвой.

— А такого сига, Антон Павлович, вам в вашей Москве подадут? Нежность, сочность. Не сиг, а сливочное масло. Вы там хвалитесь поросятами. А не угодно ли? Не хуже, я думаю. У Сергея Николаевича я на днях за обедом телятину ел. Я бы его угостил вот этой. Надо самому выбрать, толк надо знать. У меня действительно телятина. А он миллионер.

Антон Павлович был очень весел. Он не хохотал (он никогда не хохотал), не возвышал голоса, но смешил меня неожиданными замечаниями. Вдруг он позавидовал толстым эполетам какого-то военного и стал уверять, что если бы ему такие эполеты, он был бы счастливейшим на свете.

— Как бы меня женщины любили. Влюблялись бы без числа. Я знаю.

Когда стали вставать из-за стола, он сказал:

— Я хочу проводить вас. Согласны?

Мы вышли на крыльцо целой гурьбой. Извозчики стояли рядком вдоль тротуара, и некоторые уже отъезжали с седоками, и, опасаясь, что всех разберут, я сказала Чехову, чтобы он поторопился. Тогда он быстро подошел к одним саням, уселся в них и закричал мне:

— Готово, идите.

Я подошла, но Антон Павлович сел со стороны тротуара, а мне надо было обходить вокруг саней. Я была в ротонде, руки у меня были несвободны, тем более, что я под ротондой поддерживала шлейф платья, сумочку и бинокль. Ноги вязли в снегу, а сесть без помощи было очень трудно.

— Вот так кавалер, — крикнул Потапенко, отъезжая.

Кое-как, боком, я вскарабкалась. Кто-то подоткнул в сани подол моей ротонды и застегнул полсть. Мы поехали.

— Что это он кричал про кавалера? — спросил Чехов. — Это про меня? Но какой же я кавалер? Я — доктор. А чем же я проштрафился как кавалер?

— Да кто же так делает? Даму надо посадить, устроить поудобнее, а потом уже самому сесть как придется.

— Не люблю я назидательного тона, — отозвался Антон Павлович. — Вы похожи на старуху, когда ворчите. А вот будь на мне эполеты...

— Как? Опять про эполеты?

— Ну, вот. Опять сердитесь и ворчите. И все это оттого, что я не нес ваш шлейф.

— Послушайте, доктор... Я и так чуть леплюсь, а вы еще толкаете меня локтем, и я непременно вылечу.

— У вас скверный характер. Но если бы на мне были густые эполеты...

В это время он стал надевать перчатки, длинные, кожаные.

— Покажите. Дайте мне. На чем они? На байке?

— Нет, на меху. Вот.

— Где вы достали такую прелесть?

— На фабрике, около Серпухова. Завидно?

Я их надела под ротондой и сказала:

— Ничуть. Они мои.

Извозчик уже съезжал с моста.

— А куда ехать, барин?

— В Эртелев переулок! — крикнула я.

— Что? Зачем? На Николаевскую.

— Нет, в Эртелев. Я вас провожу, а потом усядусь поудобнее и поеду домой.

— А я за вами, сзади саней побегу, как собака по глубокому снегу, без перчаток. Извозчик, на Николаевскую!

— Извозчик, в Эртелев!

Извозчик потянул вожжи, и его кляча стала.

— Уж и не пойму... Куда же теперь?

Поехали на Николаевскую. Я отдала перчатки, а Антон Павлович опять стал нахваливать их, подражая Лейкину:

— Разве у Сергея Николаевича есть такие перчатки? А миллионер. Не-ет. Надо самому съездить в Серпухов на фабрику, надо знать толк... Ну, а вы будете писать

роман? Пишите. Но женщина должна писать так, точно она вышивает по канве. Пишите много, подробно. Пишите и сокращайте. Пишите и сокращайте.

— Пока ничего не останется.

— У вас скверный характер. С вами говорить трудно. Нет, умоляю, пишите. Не нужно вымысла, фантазии. Жизнь, какая она есть. Будете писать?

— Буду, но с вымыслом. Вот что мне хочется. Слушайте. Любовь неизвестного человека. Понимаете? Вы его не знаете, а он вас любит, и вы это чувствуете постоянно. Вас окружает чья-то забота, вас согревает чья-то нежность. Вы получаете письма умные, интересные, полные страсти, на каждом шагу вы ощущаете внимание... Ну, понятно? И вы привыкаете к этому, вы уже ищете, боитесь потерять. Вам уже дорог тот, кого вы не знаете, и вы хотите знать. И вот, что вы узнаете? Кого вы найдете? Разве не интересно?

— Нет. Не интересно, матушка, — быстро сказал Чехов, и эта поспешность и решительность, а еще слово «матушка», которое тогда еще не вошло у нас в обычай, так насмешили меня, что я долго хохотала.

— Почему я — матушка?

Мы подъезжали к Николаевской.

— Вы еще долго пробудете здесь? — спросила я.

— Хочется еще с неделю. Надо бы нам видаться почаще, каждый день. Согласны?

— Приезжайте завтра вечером ко мне — неожиданно для самой себя предложила я. Антон Павлович удивился.

— К вам?

Мы почему-то оба замолчали на время.

— У вас будет много гостей? — спросил Чехов.

— Наоборот, никого. Миша на Кавказе, а без него некому у меня и бывать. Надя вечером не приходит. Будем вдвоем и будем говорить, говорить...

— Я вас уговорю писать роман. Это необходимо.

— Значит, будете?

— Если только меня не увлекут в другое место. Я здесь у Суворина, от себя не завишу.

— Все равно, буду вас ждать. Часов в девять.

Мы подъехали, и я вышла и позвонила у подъезда.

Извозчик с Чеховым отъехал и стал поворачивать,

описывая большой круг по пустынной широкой улице. Мы продолжали переговариваться.

— Непременно приеду, — говорил Чехов своим прекрасным низким басом, который как-то особенно звучал в просторе и тишине, в мягком зимнем воздухе. — Хочу убедить вас писать роман. И как вы были влюблены в офицера.

— Кто это сказал?

— Вы сами. Давно. Не помните? Будете спорить? Дверь отпирал швейцар в пальто в накидку.

— Ну, до завтра.

— Да. А вы не будете сердиться? Будете добрее? Женщина должна быть кротка и ласкова.

Не было у меня предчувствия, что меня ждет.

VI

И вот настал этот вечер.

С девяти часов я начала ждать.

У меня был приготовлен маленький холодный ужин, водка, вино, пиво, фрукты. В столовой стол был накрыт для чая. Я представила себе так: сперва я затащу Чехова в детскую. Пусть позавидует. Дети еще не будут спать, а будут ложиться, а тогда они особенно прелестны. Самое веселое у них время. Потом мы пойдем пить чай. Потом перейдем в кабинет, где гораздо уютнее, чем в гостиной. Сколько необходимо сказать друг другу.

Ужинать позднее. Шампанского я не посмела купить. Чувствовалось, что это было бы чуть не оскорблением Мише.

Да и на то, что я купила, истратила денег больше, чем могла. (Помню, я решила: не заплачу по счету в свечную, подождут.)

В начале десятого раздался звонок. Прижавши руку к сердцу, я немного переждала, пока Маша шла отворять, пока отворила и что-то ответила на вопрос гостя. Тогда я тоже вышла в переднюю и прямо застыла от ужаса. Гостей было двое: мужчина и женщина, и они раздевались. Значит, это не было недоразумение: они собирались остаться, сидеть весь вечер. А всего

несноснее было то, что это были Ш., мишины знакомые, к которым он всегда тащил меня насильно, до того они были мне несимпатичны. Против него я еще ничего не могла сказать, но она. Я ее положительно не выносила. И он и она были математики, преподавали где-то, у них в квартире стояли рядом два письменных стола, и это меня почему-то возмущало. Оба были очень заняты и навещали нас, слава богу, чрезвычайно редко. Надо же им было попасть именно в этот вечер.

— Да, это мы, мы! — закричала В. У. — А Михаил Федорович на Кавказе? Ха-ха-ха.

У нее была манера хохотать во все горло по всякому поводу и даже без всякого повода. Если она говорила — она хохотала. Как она могла преподавать? Я помню, что она рассказывала мне про смерть ее единственного ребенка и при этом заливалась хохотом.

И теперь этот хохот разнесся по всей квартире. Конечно, пришлось пригласить их в гостиную. Тускло горела большая лампа, и весь воздух был пропитан тоской. А В. У. бушевала, она рассказывала, как одна девушка заболела меланхолией вследствие смерти или измены ее жениха и как В. У. посоветовала ей решать задачи. Она стала решать и выздоровела, утешилась и теперь усиленно занимается математикой и счастлива.

— Почему вы не решаете задачек? — удивлялась она мне, — это дисциплинирует ум, исключает всякую мечтательность, укрепляет волю. Заставляйте детей решать задачки. Вы увидите, как это им будет полезно, ха, ха, ха.

В десять часов Маша доложила, что чай подан.

Я вздрогнула и кинулась в столовую. Так оно и было. Весь мой ужин стоял на столе. И вино и фрукты.

— Да здесь целый пир, — вдруг закричала В. У. за моей спиной. — Вы ждали гостей? Петя. Мы с тобой так рано обедали... Как приятно. Ха, ха, ха. Но почему?

Они с аппетитом принялись за еду. Я угощала, подкладывала.

— Очень вкусный соус. Это ваша кухарка? Как? Вы сами? А Михаил Федорович говорил, что вы не любите хозяйничать. Больше в сфере фантазии, поэзии.

И тут она так расхохоталась, что даже подавилась.

На наших больших столовых часах было половина

одиннадцатого. Ясно, что Антон Павлович не придет, и я уже была этому рада.

Вдруг в передней раздался звонок, и я услышала голос Антона Павловича. Он о чем-то спросил Машу.

— Что с вами? — крикнула В. У. — Петя! Скорей воды... Лидии Алексеевне дурно.

— Нет, я ничего, — слабо сказала я. — Почему вам показалось?

— Но вы побледнели, как мел... Теперь вы вспыхнули...

Вошел Антон Павлович, и я представила друг другу своих гостей.

Какой это был взрыв хохота.

— Как? Антон Павлович Чехов? И Лидия Алексеевна не предупредила нас, что ждет такого гостя? Как мы счастливо попали. Вот, когда вы ответите мне, Антон Павлович, на вопросы, которые я ставила себе каждый раз, как читала ваши произведения. Я хочу, чтобы вы ответили.

Она напала на Чехова, как рысь на беззащитную лань. Она впилась в него, терзала, рвала на части; кричала, хохотала. Она обвиняла его, что он тратит свой большой талант на побасенки, что он ходит кругом и около, а не решает задачи, не дает идеала. Все у него расплывчато, нет точности, нет математичности. Математичности нет, нет. Ха, ха, ха.

Антон Павлович несколько раз растерянно оглядывался на меня. Вдруг он спросил меня:

— Вы курите? — В. У. на миг замолчала, удивленно моргая. Я тоже удивилась.

— Нет...

— Мне показалось, что у вас папироса.

— У меня ничего нет, — и я показала ему руки.

— Вам не надо курить.

Я предложила ему закусить. Он отказался.

В. У. опять закричала, подсакивая на своем стуле и сотрясая воздух. И от этого крика было душно, трудно было дышать.

Антон Павлович защищался слабо, нехотя, говорил односложно. Он сидел над своим стаканом чая, опустив глаза.

Но вдруг Ш. встал и сказал жене:

— Вера, нам пора домой.

— Домой, — вскрикнула она. — Но, Петя, когда я дождусь еще случая высказать то, что Чехов должен выслушать? Должен же он понять свой долг как писатель...

Она опять забарабанила, но меня утешало то, что ее муж стоял, а не садился вновь. Он настаивал, что пора ехать, и я, конечно, не возражала. Но я боялась, что он не сладит с расходившейся женой и предоставит ей возможность исполнить свой долг и наставить Чехова на путь истинный. Но, к счастью, он сладил. Она в последний раз ринулась на Чехова, стала жать и трясти его руки и кричать ему в уши, что он большой, большой талант и что она верит в него и ждет от него многого. Наконец крик перешел в переднюю, потом на лестницу, и взрыв хохота потряс весь этаж. Дверь хлопнула, и мы с Антоном Павловичем в изнеможении перешли в кабинет.

— Вы устали, — сказал Антон Павлович. — Я уйду, вас утомили гости.

Что со мной делалось? Я едва могла говорить.

— Прошу вас, оставайтесь.

— Кстати... не можете ли вы дать мне то, что обещали. Газеты с вашими рассказами и рукопись.

Я все собрала заранее и передала ему пакет.

— Почему вы не хотите, чтобы я обратился с рукописью к Гольцеву, в «Русскую мысль»?

— Потому что ее примут не за ее достоинство, а по вашей протекции.

— Но ведь я-то отдам ее по достоинству. Вы не верите мне?

— Не то, что не верю, Антон Павлович, а я вашей оценки часто совсем не понимаю. «Рассказ хорош, даже очень хорош, но то, что есть Дуня (героиня моего рассказа), должно быть мужчиной. Сделайте ее офицером, что ли. А героя (у меня герой был студент и он любил Дуню), героя — чиновником департамента окладных сборов». Видите, я даже выучила наизусть вашу рецензию. Но какой же роман между офицером и чиновником департамента окладных сборов? А если романа вовсе не нужно, то что же хорошо и даже очень хорошо в моем рассказе?

— Ну, и оставили бы все, как было. Правда, хорошо. Ведь я писал вам, что по языку вы мастер и что я платил бы вам, будь я редактором, не меньше двухсот за лист. А вы идете не туда, куда я вас посылаю, и бог знает куда. Зачем вы попали в «Сын отечества»? С. Н. Кривенко⁸ милейший человек, но не в этом суть. Вы знаете, как прозвали его газету? Очень метко. Труп честного покойника. И вы не оживите этот труп. К чему вы пошли туда?

— Это что, — вяло сказала я. — Вы не знаете, куда я еще ходила. К Буренину⁹.

Чехов так и подскочил. Даже фалды его сюртука взлетели.

— Какой идиот послал вас к этому негодяю? — не повышая голоса, но грозно спросил он и так нахмурился, что я удивилась.

— Да, ходила, — подтвердила я. — Он сказал мне, что если я сама буду приносить ему свои рассказы... Понимаете? Ему и сама... — то он будет их печатать.

Сказала и раскаялась. Совсем лишнее, глупо. Ведь это мне просто понравилось, что Антон Павлович сердится, и я постаралась еще усилить впечатление. Это называется кокетством.

— Ну, конечно, я ушла со своею рукописью и никогда больше носа туда не покажу, — прибавила я.

— Умоляю вас, верьте мне немножко. Следуйте моим советам и не подвергайтесь опасности попасть в неловкое положение. Хороших людей гораздо больше, чем дурных. Хотелось бы уберечь вас от дурных.

Он успокоился, а я пошла в столовую за вином. Да и закусить бы надо. Но... какие жалкие остатки оставили Ш. Я собрала, что могла, и отнесла на мишин письменный стол. Свою пачку с рукописями я отложила на круглый столик у окна.

— Я не хочу этого, — сказал Чехов, и мне показалось, что он сказал это брезгливо. Взял бутылку с вином, отставил ее и налил себе пива. Мне было и стыдно и больно. Приняла гостя, нечего сказать.

— Вам надо лечь спать, — сказал Чехов, — вас утомили гости. Вы сегодня не такая, как раньше. Вид у вас равнодушный и ленивый, и вы будете рады, когда я уйду. Да, раньше... помните ли вы наши первые встречи?

Да и знаете ли вы?.. Знаете, что я был серьезно увлечен вами. Это было серьезно. Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. Вы были красивы и трогательны и в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас. И когда я увидел вас после долгой разлуки, мне казалось, что вы еще похорошели и что вы другая, новая, что опять все надо узнавать и любить еще больше, по-новому. И что еще тяжелее расставаться...

Он сидел на диване, откинувшись головой на спинку; я — против него на кресле. Говорил он тихо, точно гудел своим чудесным басом, а лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно и требовательно.

— Знали вы это?

У меня было такое чувство, точно он сердится, упрекает меня за то, что я обманула его, изменилась, подурнела, стала вялая, равнодушная и теперь неинтересна.

«Кошмар», — промелькнуло у меня в голове.

— Я вас любил, — продолжал Чехов уже совсем гневно и наклонился ко мне, сердито глядя мне в лицо. — Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это?

Он взял мою руку и сейчас же оставил ее, как мне казалось, с отвращением.

— О, какая холодная рука.

И сейчас же он встал и посмотрел на часы.

— Половина второго. Я успею еще поужинать и поговорить с Сувориным, а вы ложитесь скорей спать. Скорей.

Он что-то искал глазами на столе, на диване.

— Я, кажется, обещал еще завтра повидаться с вами, но я не успею. Я завтра уезжаю в Москву. Значит, не увидимся.

Он опять внимательно оглянулся, пошел к столику у окна и взял пакет с рукописями. Я же сидела, как мертвая, не шевелясь.

В ушах у меня шумело, в голове вихрем неслись мысли, но ни одной я не могла остановить, схватить,

понять. Сказать я тоже ничего не могла. Что делалось в моей голове? Как это было мучительно.

Я с трудом встала и пошла его провожать.

— Так не увидимся, — повторил он. Я молчала и только вяло пожала его руку.

Мы жили на четвертом этаже. Вся лестница была ярко освещена. Я стояла на площадке и смотрела, как он бежит вниз. На первом повороте я его окликнула:

— Антон Павлович.

Он остановился и поднял голову. Подождал и опять побежал.

Я ничего не сказала.

VII

На другой день я получила с посыльным пакет с книгой и моими рукописями и письмо. Книга была только что вышедший сборник его рассказов с сухой надписью: «Л. А. Авиловой от автора». Письмо следующее:

«15 февраля 1895 года. СПб.

Несмотря даже на то, что в соседней комнате пели Маркони и Батистини, оба ваши рассказа я прочел с большим вниманием. «Власть» милый рассказ, но будет лучше, если вы изобразите не земского начальника, а просто помещика. Что же касается «Ко дню ангела», то это не рассказ, а вещь и притом громоздкая вещь. Вы нагромодили целую гору подробностей, и эта гора заслонила солнце. Надо сделать или большую повесть, этак листа в четыре, или же маленький рассказ, начав с того момента, когда барина несут в дом.

Резюме: вы талантливый человек, но вы отяжелели, или, выражаясь вульгарно, отсырели и принадлежите уже к разряду сырых литераторов. Язык у вас изысканный, как у стариков. Для чего это вам понадобилось ошупывать палкой прочность поверхности снега? И зачем прочность, точно дело идет о сюртуке, или мебели (нужно плотность, а не прочность). И поверхность снега тоже неловкое выражение. Затем встречаются и такие штуки: «Никифор отделился от столба ворот» или «отделился от стены».

Пишите роман. Пишите роман целый год, потом полгода сокращайте его, а потом печатайте. Вы мало отделяете, писательница же должна не писать, а вышивать по бумаге, чтоб труд был кропотливым, медлительным. Простите за сии наставления. Иногда приходит желание напустить на себя важность и прочесть нотацію. Сегодня я остался, или, вернее, был оставлен, завтра непременно уезжаю.

Желаю вам всего хорошего. Искренне преданный
Чехов». ¹⁰

Разбранил меня Антон Павлович «отяжелела, отсылала». Сердится. А я уже успела о многом размыслить и, хотя не пришла ни к чему определенному, но, казалось мне, стала рассуждать логично. Очень мне не по душе была эта логика, очень не хотелось ей подчиняться, но должен же был разум взять верх над чувством? Из-за этого чувства сколько уж я наделала глупостей! Пригласила Антона Павловича, когда Миши не было дома. Что он мог подумать? Соблазняла его тем, что мы будем одни. Что он мог заключить?

Я не знаю, как это случилось, но вдруг все мои рассуждения смело как вихрем. И этот вихрь была моя вера, моя любовь, мое горе.

«Я вас любил и думал только о вас...»

Промучившись еще дня два, я приняла решение. В ювелирном магазине я заказала брелок в форме книги. На одной стороне я написала: «Повести и рассказы. Соч. Ан. Чехова»; а с другой — «Стран. 267, стр. 6 и 7».

Если найти эти строки в книге, то можно было прочесть: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

Когда брелок был готов, я вырезала в футляре напечатанный адрес магазина, запаковала и послала в Москву брату. А его просила отнести и отдать в редакцию «Русской мысли».

Брат передал Гольцеву для передачи Антону Павловичу.

Я сделала все это с тоски и отчаяния. Адрес же вырезала, чтобы не было явного признания, чтобы все-таки оставалось сомнение для него, а для меня возможность отступления. Не могла же я отдать ему свою жизнь!

Разве что сразу четыре жизни: мою и детей. Но разве Миша отдал бы их мне? И разве Антон Павлович мог их взять?

VIII

Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил мой подарок. Я ожидала последствий, и тревожилась, и волновалась. То мне казалось, что он придет, то я ждала от него письма и вперед сочиняла содержание. Иногда это была холодная отповедь, на которую я тотчас же отвечала возможно язвительнее, то несколько небрежных строк, милостыня, как бы разрешение продолжать знакомство и переписку.

Но время шло, и не было ни Чехова, ни письма, не было ровно ничего.

Как мне надоело разбираться в моих мыслях. Повторять про себя все сказанные Чеховым слова, которые я уж выучила наизусть и которые всегда ярко вызывали в памяти лицо и голос Антона Павловича.

Одно для меня было ясно: ничего не могло быть понятнее, естественнее и даже неизбежнее, чем то, что я полюбила Чехова. Я не могла не восхищаться не только его талантом, но и им самим, всем, что он говорил, его мыслями, его взглядам...

Как-то он сказал мне: «У вас врожденная непрописная нравственность. Это много». Сказал он это по следующему поводу: завязался общий разговор о том, справедливо ли, что ошибка в выборе мужа или жены должна испортить всю жизнь? Одни говорили, что справедливость тут ни при чем и что раз церковь благословила союз, то он должен быть крепок и ненарушим. Другие горячо протестовали, приводя всякие доводы. Чехов молчал — и вдруг тихо спросил: «А ваше мнение?» Я сказала: «Надо знать, стоит ли». — «Не понимаю. Как стоит ли?» — «Стоит ли новое чувство тех жертв... Ведь непременно должны быть жертвы. Прежде всего — дети. Надо думать о жертвах, а не о себе. К себе не надо жалости. Тогда ясно: стоит или не стоит».

Позже, гораздо позже, я вспомнила этот разговор и могла предположить, что он имел большое значение. Тогда Антон Павлович и сказал мне:

— У вас непрописная нравственность... Это много. Но разве этого было достаточно, чтобы он мог любить? Он!

Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил брелок, но не отозвался ничем, даже переписка наша прекратилась. Надо было жить без него.

IX

Опять была масленица. Я сидела вечером в кабинете Миши и читала. Брат, приехавший из Москвы, играл в гостиную на рояли, муж за письменным столом что-то писал. Вдруг крышка рояля хлопнула, и брат Алеша быстро вошел к нам.

— Не могу я больше в этой адской скучище мучиться! — крикнул он. — Неужели я за этим приехал в Петербург? Едемте куда-нибудь!

Миша посмотрел на часы.

— Куда теперь ночью ехать? Ты с ума сошел.

— Двенадцати еще нет. Какая же ночь? Ну, двигайтесь!

Он схватил меня за руку и стал тащить.

— Но куда ехать? — слабо протестовала я.

Алеша взял газету.

— Маскарад сегодня в театре Суворина. Прекрасно!

— А костюмы? или домино?

— Пустяки! найдем. Только живее.

Он стащил меня с кресла и бегом проводил в спальную.

— Одевайся! и я...

Миша наотрез отказался ехать.

Когда мы одевались в передней, он кричал нам:

— Сумасшедшие! Шлендры!

— Молчи, департаментская крыса! — отвечал Алеша.

Мы взяли извозчика и поехали на Владимирскую. Там был маленький костюмерный магазин, но, увы! он был уже заперт.

— Ничего не значит, — сказал Алеша и стал стучать в дверь.

— Перестань! — кричала я ему с извозчика. — Что ты делаешь! Ну, скандал: городской идет.

— И прекрасно! — нисколько не смутился брат.

Когда городской подошел, Алеша тихо сказал ему что-то, и мне показалось, пожал ему руку, и тогда тот сейчас же постучал сам, и, несмотря на то, что стучал он гораздо тише, дверь немедленно отворилась, и на пороге показалась хозяйка в нижней юбке и ночной кофте. Городовой сказал ей несколько слов, отковырял Алеше и даже помог мне выйти из саней.

Мы выбирали костюмы при свете одной свечи. Но и выбирать было не из чего: все было разобрано. Мне удалось только найти черное домино. По моему росту оно было немного коротко, но пришлось удовольствоваться и этим.

Через несколько минут мы подъезжали к театру.

— Ты не бросай меня одну, — просила я брата, — мне будет жутко.

Зал театра показался мне каким-то кошмаром. Он был битком набит, двигаться можно было только в одном направлении, вместе с толпой. Я нащупала в своей сумке пару орехов (остались после игры в лото с детьми) и сунула их в рот, чтобы не забыться и не заговорить своим голосом, если встречу знакомых.

— Не подавись! — предупредил брат и вдруг чуть не вскрикнул: — Смотри направо...

Направо стоял Чехов и, прищурившись, смотрел куда-то поверх голов вдаль.

— Теперь, конечно, я свободен? — сказал Алеша и сейчас же исчез.

Я подошла к Антону Павловичу.

— Как я рада тебя видеть! — сказала я.

— Ты не знаешь меня, маска, — ответил он и пристально оглядел меня.

От волиения и неожиданности я дрожала, может быть он заметил это? Ни слова не говоря, он взял мою руку, продел под свою и повел меня по кругу. Он молчал, и я тоже молчала. Мимо нас проскользнул Владимир Иванович Немирович-Данченко.

— Э-ге-ге! — сказал он Чехову. — Уже подцепил!

Чехов нагнулся ко мне и тихо сказал:

— Если тебя окликут, не оборачивайся, не выдавай себя.

— Меня здесь никто не знает, — пропищала я.

Немирович как-то ухитрялся кружить вокруг нас и все повторял свое: «Э-ге-ге!»

— Неужели он узнал тебя? — беспокоился Чехов. — Не оборачивайся! Хочешь пить? Пойдем в ложу, выпьем по стакану шампанского.

Мы с трудом выбрались из толпы, поднялись по лестнице к ломам и оказались в пустом коридоре.

— Вот, как хорошо! — сказал Чехов. — Я боялся, что Немирович назовет тебя по имени и ты как-нибудь выдашь себя.

— А ты знаешь, кто я? Кто же? Скажи!

Я вырвала у него свою руку и остановилась. Он улыбнулся.

— Знаешь, скоро пойдет моя пьеса, — не отвечая на вопрос, сообщил он.

— Знаю. «Чайка»¹².

— «Чайка». Ты будешь на первом представлении?

— Буду. Непременно.

— Будь очень внимательна. Я тебе отвечу со сцены. Но только будь внимательна. Не забудь.

Он опять взял мою руку и прижал к себе.

— На что ты мне ответишь?

— На многое. Но следи и запомни.

Мы вошли в пустую аванложу. На столе стояли бутылки и бокалы.

— Это ложа Суворина. Сядем. Чокнемся.

Он стал наливать шампанское.

— Не понимаю! — сказала я. — Ты смеешься? Как ты можешь сказать мне что-нибудь со сцены? Как я пойму, что именно эти слова относятся ко мне? Да ведь ты и не знаешь, кто я?

— Ты поймешь... Сядь, пей, пожалуйста.

— Жарко!

Я подошла к зеркалу.

— Хочешь попудриться? Я отвернусь: сними маску. — И он сел ко мне спиной. Я следила за ним в зеркало: он не шевельнулся, а я маску не сняла.

Потом мы сидели рядом и пили.

— Тебе нравится название: «Чайка»?

— Очень.

— Чайка... Крик у нее тоскливый. Когда она кричит, хочется думать о печальном.

— А почему ты сегодня печальный? — спросила я. — Все глядишь вверх, будто тебе ни до кого дела нет, даже глядеть на людей скучно. — Он улыбнулся.

— Ты не угадала, маска, — сегодня мне не скучно. Я опять вернулась к «Чайке».

— Ну, как можно сказать что-нибудь со сцены? Если бы еще ты знал, кто я, то я бы подумала, что ты вывел меня в своей пьесе...

— Нет, нет!

— Ну, не понимаю и не пойму! Тем более, что ответишь ты не мне, вероятно, а той, за кого ты меня принимаешь.

— Пойдем вниз, — предложил Антон Павлович. — Неприятно, если сюда придут.

Мы вернулись в зал, сперва ходили, а потом сели в уголке.

— Расскажи мне что-нибудь, — попросил Чехов. — Расскажи про себя. Расскажи свой роман.

— Какой роман? Это ты пишешь романы, а не я.

— Не написанный, а пережитый. Ведь любила ты кого-нибудь?

— Не знаю.

Двигалась мимо нас, шуршала и шумела толпа. Не обычная, нарядная толпа, а какая-то сказочная или кошмарная. Вместо женских лиц — черные или цветные маски с узкими прорезами для глаз. То здесь, то там высовывались звериные морды из-под поднятых капюшонов мужских домино, ярко белели пластроны фрачных сорочек. И над всем этим гремел непрерывно оркестр пьянящими вальсами, страстными ариями. Голова у меня слегка кружилась, нервы были напряжены, сердце то замирало, то билось усиленно. Я прислонилась плечом к плечу Антона Павловича и близко глядела ему в лицо.

— Я тебя любила, — сказала я ему. — Тебя, тебя...

— Ты интригуешь, маска, — сказал он. — И ты противоречишь себе: ты только что сказала «не знаю».

— Нет, это не противоречие. Может быть, это была и не любовь, но, кажется, не было ни одного часа, когда я не думала бы о тебе. А когда я видела тебя, я не могла наглядеться. Это было такое счастье, что его трудно было выносить. Ты не веришь мне? Дорогой мой!

Он откинул прядку волос со лба и поднял глаза к потолку.

— Ты мне не веришь? Ответь мне.

— Я не знаю тебя, маска.

— Если не знаешь, то все-таки принимаешь меня за кого-то. Ты сказал, что ответишь мне со сцены.

— Сказал на всякий случай. Если ты не та, кому я хотел сказать, это значения не имеет. Тогда ты не поймешь.

— А кому ты хотел сказать?

Он обернулся:

— Тебе!

— Так что же ты говоришь, что ты меня не знаешь?!

— Знаю, что ты артистка и что ты сейчас очень хорошо играешь.

— И эта артистка должна быть очень, очень внимательна и следить?

— Ты!

Он опять улыбнулся и наклонил голову ко мне.

— Ты будь внимательна и следи. Но ты не кончила рассказывать свой роман. Я слушаю.

— Роман скучный, а конец печальный.

— Конец печальный?

— Я же тебе сказала, что не знаю, любила ли я действительно. Разве это значит любить, если только борешься, гонишь эту любовь, прислушиваешься к себе с постоянной надеждой: кажется, я уже меньше люблю, кажется, я выздоравливаю, кажется, я, наконец, победила. Разве это любовь?

— Не было бы любви, не было бы и борьбы, — быстро сказал он.

— А! Значит, ты мне веришь!

— Я не знаю тебя, маска.

Он взял меня под руку и встал.

— Тут много любопытных глаз. Ты не хочешь еще вина? Я хочу.

Мы опять поднялись в ложу после того, как Чехов удостоверился, что она пуста.

На столе стояли две почти полные бутылки. Мы опять уселись и теперь стали весело и бессвязно болтать. Он настаивал, что я артистка, что он знает меня в драматических ролях. Я стала дразнить его Яворской.

- Ты еще влюблен в нее, несчастный?
- Неужели ты думаешь, я тебе отвечу?
- А почему нет?
- Да только потому, что ты сама Яворская.
- Ты в этом уверен?
- Убежден.
- Давно бы сказал. Я бы сняла здесь маску.
- Сними.
- Нет, поздно, домой пора.

Мы выглянули в зал. Публика очень заметно поредела. Я увидела Алешу, который шурился во все стороны. Очевидно, искал меня. Мы, смеясь, быстро спустились и около лестницы столкнулись с Суворинным и К-о.

— Антон Павлович! — закричал он. — Мы все вас искали, искали...

Я быстро пожала руку Антону Павловичу и бросилась к Алеше.

- Ты довольна? — спросил он.
- Довольна и немножко пьяна. А ты доволен?
- Доволен, но совершенно трезв.

И дорогой и дома в постели я думала:

— Я — Яворская? Он ответит со сцены Яворской?

Мы с Мншей обыкновенно бывали на всех премьерах драматических представлений, и я думала, что и на этот раз мы пойдем вместе. Но Миша передал мне только один билет.

— Вот тебе, чехистка! С трудом достал и то не в партере, а в амфитеатре.

— А ты?

— У меня заседание. И, по правде сказать, не велика потеря...

Я отправилась одна и тоже, по правде сказать, была этому рада. Про то, что я жду ответа со сцены, я, конечно, никому не сказала, даже Алеше, но скрыть своего волнения я не могла. Давно ждала я этого дня и все время думала то одно, то другое. Узнал меня Антон Павлович или не узнал и принял за другую? Он сказал, что «убежден», что я Яворская. Я решила, что этого не может быть. Это он пошутил. Ни в фигуре, ни в манерах у меня с Яворской сходства не было ни малейшего. Но мало ли у него могло быть других знакомых женщин!

Между прочим, я вспомнила: в тот вечер я второй раз в жизни была в маскараде. В первый раз я была с Мишей и с целой компанией знакомых. Я старалась интриговать, но ко мне привязывались незнакомые и приглашали ужинать, кататься на тройке. Я пугалась и обращалась в бегство. Было не весело, а противно, и ни за что я не пошла бы с кем-нибудь под руку и не приняла бы предложения выпить вина. С Чеховым я сейчас же согласилась подняться в пустую ложу, и почему-то меня даже не удивило, что он весь вечер вел себя так, как будто мы были не в маскараде, а в гостях у общих знакомых. Почему-то он даже оберегал меня от «любопытных» глаз и боялся, что я себя выдам. А я отнеслась к этому так, будто иначе и быть не могло. Раз я была с Чеховым, то все это было вполне естественным, кто бы я ни была. За это ручалось его уважение к женщине, за это ручалось его личное достоинство, его благородство.

Но кому же хотел он ответить со сцены?

— Тебе! — сказал он.

И когда я его спросила, артистка ли должна следить внимательно, он ответил:

— Ты!

И вот, почему-то, во мне росла уверенность, что это «ты» — это я. Весь день я была в большом возбуждении.

Театр был переполнен. Очень много знакомых лиц. Мое место было в амфитеатре с правого края, около двери, и на такой высоте, что я могла подавать руку, здороваться со знакомыми и слышать все разговоры проходящих и стоявших у дверей. Мне казалось, что все, как и я, возбуждены, заинтересованы.

Началось первое действие.

Очень трудно описать то чувство, с которым я смотрела и слушала. Пьеса для меня как-то пропадала. Я ловила каждое слово, кто бы из действующих лиц его ни говорил, я была напряженно внимательна, но пьеса для меня пропадала и не оставляла никакого впечатления. Когда Нина Заречная стала говорить свой монолог: «Люди, львы, орлы...», я услышала в партере какой-то странный гул и точно проснулась. Что это происходило? Показалось мне, что это пронесся по рядам сдержанный смех, или это был не смех, а ропот, возмущение?

Во всяком случае это было что-то неприятное, враждебное. Но этого не может быть! Чехов так популярен, так любим!

Занавес опустился, и вдруг в зале поднялось что-то невообразимое: хлопки заглушались свистом, и чем больше хлопали, тем яростнее свистели. И тогда ясно стал слышен и смех. Мало того, что смеялись, — хохотали. Публика стала выходить в коридоры или в фойе, и я слышала, как некоторые возмущались, другие злобно негодовали.

«Символистика»... «Писал бы свои мелкие рассказы»... «За кого он нас принимает?»... «Зазнался, распустился»...

Остановился передо мной Ясинский¹³, весь взъерошенный, задыхающийся.

— Как вам понравилось? Ведь это чорт знает что! Ведь это позор, безобразие...

Его кто-то отвел.

Многие проходили с тонкой улыбкой на губах, другие разводили руками или качали головой. Всюду слышалось: Чехов... Чехов...

Если бы я даже хотела встать, я бы не могла. Но я и не хотела. В зале стало тихо, все злобствующее, язвительное, злорадно захлебывающееся — все ушло разливать свою желчь на просторе, собираясь в кружки, стараясь перекрычать друг друга. Литературно-журналистская братия! Та, которая кланялась ему низко, подобоострастно льстила. Им ли было не радоваться, когда неожиданно явился случай лягнуть его побольнее. Слишком быстро и высоко он поднялся, и теперь они тянули его вниз, воображая, что его гордая голова уже никогда больше не поднимется над ними.

Когда антракт кончился и зал стал наполняться, я увидела в одной из лож налево Суворина. Я думала, что может появиться и Чехов, но его не было.

И опять упорно, но уже безнадежно, я стала внимательно следить за словами пьесы. Вспомнилось: Антон Павлович писал ее летом в маленьком флигельке Мелихова. Весь флигелек тонул в зелени. Из дома к нему порой доносились звуки рояля и пения. Ему было хорошо, когда он писал. Он сам рассказал мне об этом. Вспомнилось так, точно на один миг я увидела и флиге-

лек, и Антона Павловича над рукописью со свесившейся прядкой волос на лбу. Далеко тогда был Петербург с Александринкой, далеко был день первого представления, а теперь далеко Мелихово с его покоем и тишиной, и вместо флигелька — переполненный зрительный зал и лица друзей, внезапно обратившиеся в звериные хари.

Пьеса с треском проваливалась. Что же должен был теперь переживать Антон Павлович? Кто был с ним, чтобы он чувствовал рядом друга? Кто мог облегчить его состояние? Как я завидовала бы этому человеку, если бы знала его!

А про ответ со сцены Антон Павлович, очевидно, пошутил. Сказал на всякий случай неизвестно кому.

Но вот... вышла Нина, чтобы проститься с Тригоринным. Она протянула ему медальон и объяснила: «Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книги».

«Какой прелестный подарок!» — сказал Тригорин и поцеловал медальон.

Нина ушла... а Тригорин, разглядывая, перевернул медальон и прочел: «страница 121, строка 11 и 12». Два раза повторил он эти цифры и спросил вошедшую Аркадину:

— Есть мои книги в этом доме?

И уже с книгой в руках он повторил: «страница 121, строки 11 и 12». А когда нашел страницу и отсчитал строки, прочел тихо, но внятно: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

С самого начала, как только Нина протянула медальон, со мной делалось что-то странное: я сперва замерла, едва дышала, опустила голову, потому что мне показалось, что весь зрительный зал, как один человек, обернулся ко мне и смотрит мне в лицо. В голове был шум, сердце колотилось, как бешеное. Но я не пропустила и не забыла: страница 121, строки 11 и 12. Цифры были все другие, не те, которые я напечатала на брекете. Несомненно, это был ответ. Действительно, он ответил мне со сцены и ответил мне, только мне, а не Яворской и никому другому.

«Тебе!» «Ты!» Он знал, что говорил это мне. Весь вечер он был со мной и знал, что со мной. Значит, сразу

узнал меня. С первого взгляда. Но что в этих двух строках? Что в этих двух строках?

Я опять стала в состоянии смотреть на сцену, и теперь я видела пьесу. Но мне больше хотелось увидеть Антона Павловича. В ложе его не было, значит — он за кулисами. Туда пройти невозможно. Да и если бы и можно было, я бы не решилась. Если бы встретиться как-нибудь случайно и понять, почувствовать, не лишняя ли я? Не навязчиво ли мое присутствие? О, если бы я знала, что он хочет меня видеть! Но мне казалось, что сейчас, в его тяжелом состоянии, он едва бы узнал меня, прошел бы мимо, даже подсадовал бы, возможно, что я встретила бы его. Он ответил мне со сцены в пьесе, которая провалилась, и поэтому я должна была быть ему особенно неприятной. Недаром я, как виноватая, боялась его. Но в последнем антракте я все-таки обегала и коридоры и фойе. Ведь я сразу увидела бы по его лицу, нужна ли я ему.

Но я его нигде не встретила, а позже услышала, как говорили, что Чехов убежал из театра. Об этом шептались, передавая друг другу эту новость. Сбежал!

В последнем действии, которое мне очень понравилось и даже заставило на время забыть о провале пьесы, Коммиссаржевская (Нина), вспоминая ту пьесу Треплева, в которой она в первом действии играла Мировую душу, вдруг сдернула с дивана простыню, закуталась в нее и опять начала свой монолог: «Люди, львы, орлы...»

Но едва она успела начать, как весь зал покотился от хохота. И это в самом драматическом, самом трогательном месте пьесы, в той сцене, которая должна бы была вызвать слезы!

Смеялись над простыней, и надо сказать, что Коммиссаржевская, желая напомнить свой белый пеплум Мировой души, не сумела изобразить его более или менее красиво, но все-таки это был предлог, а не причина смеха. Я была убеждена, что захохотали с умыслом звериные хари, а публика просто заразилась, а может быть, даже вообразила, что в этом месте подобает хохотать. Как бы то ни было, хохотали все, весь зрительный зал, и весь конец пьесы был окончательно испорчен.

Никого не тронул финальный выстрел Треплева, и занавес опустился под те же свистки и глумления, которые и после первого действия заглушили робкие аплодисменты.

У вешалок возбуждение еще не улеглось. И там смеялись. Громко ругали автора и передавали друг другу:

— Слышали? Сбежал! Говорят, прямо на вокзал, в Москву.

— Во фраке?! Приготовился выходить на вызовы! Ха, ха...

Но я слышала тоже, как одна дама сказала своему спутнику:

— Ужасно жаль! Такой симпатичный, талантливый... И ведь он еще так молод... Ведь он еще очень молод.

Дома меня ждал Миша с кипящим самоваром и холодным ужином. Он сам открыл мне дверь.

— Ну, что? Большой успех?

— Провал,— неохотно ответила я.— Ужасный провал!

— Не ходи в детскую,— предупредил он, удерживая меня за руку.— Я только что там был. Все спят, как сурки. Были очень веселы, бегали, играли. Сядь, расскажи.

— Провал,— повторила я и передала приблизительно, что я видела и слышала.

— Ах, уж и подлецы эти газетные писаки! — горячо сказал Миша.— Подхалимы, мерзавцы... Говоришь, сбежал Чехов? Да, вообрази, какие у него кошки на сердце скребут! Да не его дело писать пьесы! Писал бы еще что-нибудь вроде «Степи». Тут он мастер.

Какое для меня было неожиданное облегчение, что Миша ругал не Чехова, а его врагов и завистников. Я ждала, что он придерется к случаю сказать про него что-нибудь враждебное, но ему, очевидно, стало жалко Чехова, и он забыл свою вражду.

— Подожди, мать,— говорил он,— это пустяк, что его освистали. Покажет он им еще себя. Опять будут пресмыкаться и хвостом вилять, а он уж теперь их раскусит. Слишком добродушен твой Чехов: со всякой сволочью готов обниматься.

Я слушала с радостью, но у меня из головы не выходило: 121, 11 и 12.

Книга Чехова в библиотеке на полке, найти ее ничего не стоит. Найти и прочесть. Но надо пить чай, есть ветчину, слушать Мишу и отвечать. А что там? На этой странице 121 и на строках 11 и 12? Ах, скорей бы, скорей!

Наконец чай был отпит, Миша ушел в кабинет, повожился там, посвистел и прошел через гостиную в спальню.

— Мать! Ты скоро?

— Да, сейчас.

Тогда и я прошла в кабинет, пришлось зажечь свечу, так как Миша потушил лампу, и со свечой в руках я поспешно нашла и вынула книгу, дрожащими руками отыскала страницу 121 и, отсчитав строки, прочла: «...кие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?»

В полном недоумении я опять пересчитала строки. Нет, я не ошиблась. «...кие феномены...»

— Мать! старуха! — кричал Миша. — Что ты там делаешь?

«Что ты смотришь на меня с таким восторгом»... Я медленно закрыла книгу, положила ее на место. Смется он, что ли, надо мной?

«Я тебе нравлюсь?»

Катит он теперь в Москву, сидит и думает. Нет, думать он сейчас не может. Он отмахивается от того, что продолжает видеть и слышать: растерянных артистов на сцене, звериных харь в зале, свист, хохот. О, я хорошо знала, помнила это состояние, я его пережила. Но вспоминается ли ему его «ответ»? Представляет ли он себе мое чувство, когда после такого долгого ожидания, после такого волнения и нетерпения, я прочту: «Я тебе нравлюсь?» Стоило ли из-за этого втискивать в пьесу этот эпизод с медальоном?

Спать я не могла. И меня преследовали воспоминания того, что я видела в театре, впечатления этого грандиозного провала и мое собственное разочарование. «Я тебе нравлюсь?»

И вдруг точно молния блеснула в моем сознании: я выбрала строки в его книге, а он, возможно, в моей?

Миша давно спал. Я вскочила и побежала в кабинет, нашла свой томик «Счастливица» и тут на странице 121, строки 11 и 12 я прочла: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается».

Вот это был ответ! Ответ на многое: на то, кто прислал брелок, кто была маска. Все он угадал, все знал.

Х

В театре Суворина шла какая-то переводная пьеса. Оглядывая зал, я вдруг увидела Чехова в ложе рядом с Сувориным. А я и не знала, что он в Петербурге. Почему он мне не написал, что собирается? Вообще странная дружба! Заметил меня и отвернулся. И как это смешно и дико: Суворин и Суворина, а в середине Чехов... И Чехов знает, что я его «обожаю» и, вероятно, поэтому поворачивается ко мне спиной. Носит он мой брелок?

В антракте я пошла в фойе. Спешно спускаясь вниз уже после звонка, я увидела Антона Павловича. Он стоял в коридоре у дверей своей ложи, той самой, где мы когда-то пили шампанское. Увидев меня, он быстро шагнул мне навстречу и взял мою руку.

— Пьеса скучная,— поспешно сказал он.— Вы согласны? Не стоит смотреть ее до конца. Я бы проводил вас домой. Ведь вы одна?

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— ответила я.— Если вы уйдете, вы огорчите Сувориных.

Антон Павлович нахмурился.

— Вы сердитесь. Но где и когда я мог бы с вами поговорить? Это необходимо.

— И вы находите, что самое удобное на улице?

— Так скажите: где? когда?

Дверь ложи открылась, и показался Суворин.

— Видите, вас ищут. Идите скорей на ваше место.— Я засмеялась и быстро пошла по коридору.

— Кажется, ясно, что я выздоровела,— сказала я себе со злостью, хотела пойти в зрительный зал, но раздумала, пошла к вешалке, оделась и ушла. Действительно, шел снег и вместе со снегом — дождь. Ветер налетал порывами и мешал идти.

— Свезу?— спросил извозчик.

Я поколебалась и прошла мимо. Не хотелось домой, да и было слишком рано: меня не ждали.

— Удивительно умно все, что я сделала и сказала!— казнила я себя. — Выздоровела!.. Боже, до чего я несчастна! А он хотел поговорить со мной. О чем? «Необходимо...» И что же, я опять оскорбила его?

Я подумала и с грустью решила: «Нет! он понял. Он все понимает, он все знает. Вот теперь видит мое пустое место, и ему тяжело.

Но как тяжело? Из сострадания?

Ах, если бы и он любил меня! Если бы...

А тогда что?»

Я долго кружила по улицам и переулкам, но разрешить своего последнего вопроса не могла.

XI

Мы решили встретиться в Москве. Я должна была быть там в марте, Антон Павлович сказал, что приедет из Мелихова.

18 марта 1897 года он написал мне:

«Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется по-видаться с вами, очень — несмотря на то, что вы сердитесь и желаете мне всего хорошего «во всяком случае». Я приеду в Москву до 26 марта, по всей вероятности в понедельник, в 10 часов вечера, остановлюсь в Б. Московской гостинице, против Иверской. Быть может, приеду и раньше, если позволят дела, которых у меня, увы! очень много. В Москве пробуду до 28, а потом, можете себе представить, поеду в Петербург. Итак, до свиданья. Смените гнев на милость и согласитесь поужинать со мной, или пообедать. Право, это будет хорошо. Теперь я не надую вас ни в коем случае, задержать меня дома может только болезнь. Жму вам руку, низко кланяюсь,

Ваш Чехов».

Я послала ему свой московский адрес, и вот 23 марта я получила в Москве записку с посыльным:

«Б. Московская гостиница № 5. Суббота.

Я приехал в Москву раньше, чем предполагал, когда же мы увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть дома. Не найдете ли вы возможным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к вам? Желаю вам всего хорошего. Ваш Чехов».

Я сейчас же ответила, что вечером буду у него.

В Москве я остановилась у моего старшего брата, а этот брат был женат на сестре моего мужа. Поэтому дома я не сказала, что собираюсь к Чехову. Знал об этом брат Алеша и устроил все так, что мне незачем было выдумывать что-либо, чтобы объяснить мое отсутствие вечером. Он воспользовался тем, что в этот день были мои именины, и позвал меня к себе. Старший брат и его жена были толстовцы, именин не признавали и именинных пиршеств избегали. Впрочем, все это относится только к брату, но не к его жене. Она с удовольствием явилась бы вечером к Алеше, посмотреть на гостей, послушать музыку, поужинать и даже выпить. Но Алеша сказал ей: «Я тебя не зову: у меня тесно, а ты очень толстая». Она обиделась и заявила, что не пошла бы, если бы даже он просил.

Я обещала Алеше приехать к нему попозже, очень долго я в гостинице все равно не засижусь.

Как я и обещала в письме, в восемь часов я входила в Московскую.

Швейцар принял у меня пальто, и я стала подниматься по лестнице.

№ 5.

Вдруг швейцар окликнул меня.

— А вы к кому?

— № 5. К Чехову.

— Так его дома нет. Вышел.

— Не может быть! Вероятно, он не велел принимать? Он нездоров. Он мне писал...

— Не могу знать. Только его нет. С утра уехал с Суворовыми.

Я стояла на лестнице в полной растерянности.

Прибежал какой-то лакей.

— Вот, не верят, что Антон Павловича дома нет,— сказал ему швейцар.

— Кажется, к себе в имение обратно уехали, — сообщил лакей. — Я слышал, они господину Суворину говорили: «вечером домой»... А поехали они завтракать в Славянский. Значит, сюда и не вернулись.

— Он мне назначил. Я ему писала...

— Писем да записок с утра тут вон сколько накопилось, — сказал швейцар.

Тогда я быстро спустилась. На подзеркальнике грудкой лежала почта, и я, быстро перебирая ее, нашла свое письмо и зажала его в руке. Теперь я убедилась, что Антона Павловича действительно нет дома, оделась и ушла. А лакей продолжал строить предположения:

— Не иначе, как в деревню уехали. Экстренность, что ли, какая...

Я взяла извозчика и поехала к Алеше.

К нему уже начали собираться гости, и уже было шумно и весело.

— Да, я раздумала, — сказала я Алеше на его недоумевающий взгляд.

Когда стали играть и петь, мне стало до того тяжело, что я не выдержала и спряталась в алешину спаленку.

Скоро Алеша вошел ко мне. Он был очень встревожен, но стеснялся спрашивать и молча глядел на меня. В комнате горела только лампадка у образов.

Когда я ему рассказала, как меня приняли в Московской, он вскочил.

— А что ты думаешь?

— Я думаю, что Суворин увлек его куда-нибудь, а про меня он забыл.

— А я тебе говорю, что этого не может быть! Чехов? Нет! Или эти негодяи там что-нибудь напутали, или... я не знаю что! Но во всяком случае, нельзя же этого так оставить. Надо выяснить.

— Как?

— Поедем сейчас туда... Я войду и все выясню. Возможно, он уже дома.

— Но я... я ни за что не хочу его видеть!

— Хочешь, я ему скажу? Что сказать?

— Не знаю. Сейчас ничего не знаю. Не ходи к нему, ничего не говори. Только справься...

— Но Чехов так поступить не мог! Тут не Суворин, а какая-нибудь важная причина. Ну, едем!

— А твои гости!

— Повеселятся и без меня. Няня их накормит...

Но мы не поехали, а пошли пешком, хотя с Плющихи до «Московской» очень далеко. Погода была такая весенняя, воздух такой упоительный! Только что прошел небольшой дождь, и казалось, даже камни мостовой стали душистыми. Снегу уже нигде не было, весна в этом году была ранняя. Говорили, что уже прошла река.

Мы шли и говорили про Антона Павловича.

Алеша вошел в гостиницу один, но пробыл там недолго. Взял меня под руку, и мы пошли обратно.

— Не вернулся, — сказал он. — Говорят, приехал больной. Завтра еще справлюсь.

Опять стал накрапывать дождь и скоро пошел редкий, но крупный. Стало как будто еще теплей и ароматней.

На другой день пришел Алеша и сообщил, что Антон Павлович серьезно заболел и его отвезли в клинику.

А 25-го утром я получила записку:

«Москва, март 1897 г.

Вот Вам мое *curriculum vitae*: в ночь под субботу я стал плевать кровью. Утром поехал в Москву. В 6 часов поехал с Сувориным в Эрмитаж обедать и едва сел за стол, как у меня кровь пошла горлом форменным образом. Затем Суворин повез меня в Славянский Базар; доктора; пролежал я более суток и теперь дома, т. е. в Московской гостинице. Ваш А. Чехов».

Понедельник.

Около трех дня во вторник мы с Алешей входили в приемную клиники. Нас встретила женщина в белом: старшая сестра, или надзирательница, не знаю.

— Вот... моя сестра хотела бы видеть Чехова, — сказал Алеша.

На лице женщины в белом выразился ужас, и она подняла плечи и руки.

— Невозможно! Совершенно невозможно! Антон Павлович чрезвычайно слаб. Может быть допущена только Марья Павловна.

— А нельзя ли нам поговорить с доктором?

— С доктором? но это бесполезно. Он скажет вам то же, что и я.

— А все-таки я хотел бы...

Сестра пожала плечами, подумала и вышла.

Пришел доктор и сразу заявил:

— Антона Павловича видеть нельзя. Допустить вас я не могу ни в коем случае.

Тогда заговорила я.

— В таком случае передайте ему, пожалуйста, что я сегодня получила его записку и... вот... приходила, но что меня не пустили.

— Сегодня получили записку? Но он заболел еще третьего дня.

Я достала письмо Чехова и протянула ему.

— Он писал вчера.

Доктор отстранил письмо и насупился.

— Подождите,— сказал он и быстро вышел.

— Видишь? Пустит...— сказал Алеша.

Когда доктор вернулся, он сперва пристально посмотрел на меня, покачал головой и развел руками.

— Что тут поделаешь?— сказал он.— Антон Павлович непременно хочет вас видеть. Постойте... Вы в Москве проездом?

— Да.

— И это, чтобы видаться с вами он, больной, поехал из деревни в такую погоду?

— Приехал Суворин...— начала я.

Доктор усмехнулся.

— Так, так! И чтобы встретиться с Сувориным, он рискнул жизнью? Дело в том, сударыня, что он опасен, что всякое волнение для него губительно. Вам, конечно, лучше знать, что вы делаете. Я снимаю с себя ответственность. Да.

Я растерялась.

— Что же мне делать? Уйти?

Невозможно теперь. Он вас ждет. Волнуется. Что тут поделаешь? Идемте.

Мы стали подниматься по лестнице.

— Что бы он ни говорил,—ни слова! Вредно. Помните: от разговора, от волнения опять пойдет кровь. Даю вам три минуты. Три минуты, не больше. Сюда... Ну... ну...—мягче прибавил он,—ничего... Сами будьте спокойнее. Через три минуты приду.

Он лежал один. Лежал на спине, повернув голову к двери.

— Как вы добры...— тихо сказал он.

— О, нельзя говорить!— испуганно прервала я.— Вы страдаете? Болит у вас что-нибудь?

Он улыбнулся и показал мне на стул около самой кровати.

— Три минуты,— сказала я и взяла со стола его часы. Он отнял их и удержал мою руку.

— Скажите: вы пришли бы?

— К вам? Но я была, дорогой мой.

— Были?!

— Да не разговаривайте! нельзя. И это не важно.

— Что?

— Что я была и...

— Не важно? не важно?

— Ведь лишь бы вы скорей поправились.

Он нахмурился.

— Так не важно?

— Ну, в другой раз.

Он улыбнулся.

— Я слаб,— прошептал он.

— О чем вам рассказать, чтобы вы молчали?

— Сегодня едете?

— Нет, завтра.

— Так завтра непременно приходите опять. Я буду ждать. Придете?

— Конечно.

Вошел доктор и с любезной улыбкой обратился к Чехову:

— Пора, Антон Павлович. Не утомитесь.

— Минутку... Лидия Алексеевна! У меня просьба...

Доктор предупреждающе поднял палец и потом подал ему листик бумаги и карандаш. Антон Павлович написал:

«Возьмите мою корректуру у Гольцева в «Русской мысли»¹⁴ сами. И принесете мне почитать что-нибудь ваше и еще что-нибудь».

Когда я прочла, он взял у меня записку и приписал: «Я вас очень лю... благодарю». «Лю» он зачеркнул и улыбнулся.

Я простилась и пошла к двери.

Вдруг Антон Павлович окликинул меня.

— Лидия Алексеевна! Вы похожи на гастролершу! — громко сказал он.

— Это платье — Чайка, — смеясь, сказала я.

Доктор возмутился.

— Антон Павлович! Вы сами врач... Завтра, если вам будет хуже — никого не пущу. Никого!

Мы с Алешей шли обратно, и я все время утирала слезы, которые катились по лицу.

Алеша молча отдувался и вздыхал.

— Алеша, — сказала я, — ты меня не жалеешь: у меня на сердце тепло, тепло...

XII

Дома меня ждали две телеграммы. Одна: «Надеюсь встретить 27. Очень соскучились». Другая: «Выезжай немедленно. Ждем целуем».

На другое утро третья: «Телеграфируй выезде. Жду завтра непременно».

Я отправилась в редакцию «Русской мысли» к Гольцеву за корректурой.

Гольцев удивился.

— Зачем она ему сейчас? Успел бы позже.

Узнав, что я была в клинике, он стал меня расспрашивать о состоянии здоровья Чехова и подозвал еще двух или трех лиц.

— Вот... свежие новости об Антоне Павловиче.

— Плохо, что весна, — сказал кто-то. — Вчера река прошла. Это самое опасное время для таких больных.

— Я слышал, что он очень плох, очень опасен... — сказал еще кто-то.

— Значит, к нему допускают посетителей?

— Нет, нет, — сказал Гольцев. — Лидия Алексеевна передаст ему наши поклоны и пожелания. И скажите ему, что с корректурой спеха нет. Пусть не утомляется.

Я ушла из редакции очень расстроенная. Антон Павлович произвел на меня впечатление умирающего, а тут говорили, что он очень, очень плох, упоминали про реку... «Самое опасное время»... Чувствовалось, что считали его погибшим.

Итти в клинику было рано (раньше двух меня не пустили бы), и я пошла на реку.

На Замоскворецком мосту я подошла к перилам и стала глядеть вниз. Лед уже шел мелкий, то покрывая собой всю реку, то оставляя ее почти свободной. День был солнечный, какой-то особенно голубой и сияющий, но в нем мне чудилась угроза, как и в мчавшейся из-под моста буйной, нетерпеливой реке. Набегали льдины, кружились и уносились вдаль. Мне казалось, что река мчится все скорее и скорее, и от этого слегка кружилась голова.

Вот... Подточило, изломало, осилило и уносит. И жизнь мчится, как река, и тоже подтачивает, ломает, осиливает и уносит. «Самое опасное время»... «Плох Антон Павлович! очень плох!»

Припоминалась мне его печать, которой он последнее время запечатывал свои письма. На маленьком красном кружочке сургуча отчетливо были напечатаны слова: «Одинокому везде пустыня».

«До тридцати лет я жил припеваючи», — как-то сказал он мне.

После тридцати осилила, изломала жизнь? И теперь уносит?

Эх, жизни! Могла ли она удвоить такого исключительного человека, как Чехов? Могла ли не отравить его душу горечью и обидой? Эту глубокую, чистую душу, такую требовательную к себе.

Едва прошел хмель молодости, когда беспредметно бьет ключом в груди радость бытия, едва он серьезно и требовательно оглянулся кругом, как уже начал себя чувствовать в пустыне, как уже стал одиноким. Быть может, смутно было вначале это чувство, но становилось все определеннее, все ощутимее, иначе, к чему бы заказывать себе такую печать? И, возможно, не понимал он и не знает и теперь, что слишком высоко стоит он над всеми и что по его росту в нашей жизни счастья для него еще нет.

И вдруг почему-то вспомнилось смешное.

— Зачем вы прислали мне двугривенный? — спросил меня Антон Павлович.

— Двугривенный?!

— Ну, да. Вы отдали его железнодорожному сторожу на ст. Лопасня для передачи мне.

— Я вам записку передала!

— Записку сторож так замазал, что на ней ничего разобрать было невозможно, кроме разве вашей подписи. Двугривенный он мне вручил целешеньким. Я взял.

Это «я взял» смешило меня каждый раз, как я о нем вспоминала.

А река все мчалась и мчалась...

Нет! Антон Павлович не умрет... Допустить эту мысль — это потерять голову, это...

Я чуть не уронила пачку, которую держала подмышкой, встряхнула головой и быстро направилась к берегу.

Я пошла покупать цветы. Антон Павлович написал: «И еще что-нибудь». Так вот, пусть цветы будут «что-нибудь».

В клинику я пришла как раз во-время. Меня встретила сестра.

— Нет, Антону Павловичу не лучше, — ответила она на мой вопрос. — Ночью он почти не спал. Кровохарканье, пожалуй, даже усилилось...

— Так меня не пустят к нему?

— Я спрашивала доктора, он велел пустить.

Сестра, очевидно, была недовольна и бросала на меня неодобрительные взгляды.

Я сорвала с своего букета обертку из тонкой бумаги.

— Ах! — вскрикнула сестра, — но ведь этого нельзя! Неужели вы не понимаете, что душистые цветы в палате такого больного...

Я испугалась.

— Если нельзя, так оставьте... оставьте себе.

Она улыбнулась.

— Все-таки, раз вы принесли, покажите ему.

В палате я сразу увидела те же ласковые, зовущие глаза.

Он взял букет в обе руки и спрятал в нем лицо.

— Все мои любимые, — прошептал он. — Как хороши розы и ландыши...

Сестра сказала:

— Но этого, Антон Павлович, никак нельзя: доктор не позволит.

— Я сам доктор,— сказал Чехов.— Можно! Поставьте, пожалуйста, в воду.

Сестра опять кинула на меня враждебный взгляд и ушла.

— Вы опоздали,— сказал Антон Павлович и слабо пожал мою руку.

— Нисколько. Раньше двух мне не приказано. Сейчас два.

— Сейчас семь минут третьего, матушка. Семь минут! Я ждал, ждал...

Он стал разбирать книги и газеты, которые я ему принесла. Корректуру положил на стол и слушал отчет о моем посещении Гольцева.

— К сожалению, я почти все читал,— тихо говорил он.— Неизданные статьи Л. Н. Толстого? Последние? Да, это я прочту с удовольствием. Я не разделяю...

— Нельзя вам говорить! — прервала я его,— а вы, кажется, собираетесь разбирать учение Льва Николаевича.

— Когда вы едете?

— Сегодня.

— Нет! Оставайтесь еще на день. Придите ко мне завтра, прошу вас. Я прошу!

Я достала и дала ему все три телеграммы. Он долго их читал и перечитывал.

— По-моему, на один день — можно.

— Меня смущает это «выезжай немедленно». Не заболели ли дети?

— А я уверен, что все здоровы. Оставайтесь один день для меня. Для меня, — повторил он.

Я тихо сказала:

— Антон Павлович! не могу.

Я представила себе: что будет? Я пошлю телеграмму, что задержалась, и Миша сегодня же вечером выедет в Москву. Но положим, что он не выедет, дождется меня. Какой прием меня ожидает? И это бы ничего! Но ведь я дам ему уверенность, что люблю Антона Павловича и сделаю так, что от нашего семейного счастья не останется и следа. И его и моя жизнь превратится в ад. А из-за чего? Из-за лишнего визита продолжительностью в три минуты.

Мысли беспорядочно неслись в моей голове.

— Значит нельзя,— сказал Антон Павлович.

И я убедилась, что он опять все знает и все понимает. И мишину ревность и мой страх.

«Я уверен, что все здоровы».

Вошел доктор. Антон Павлович показал ему на цветы и уверенно сказал:

— Мне это не вредно.

Доктор наклонился, понюхал и неопределенно заметил:

— Хорошо!

Потом обратился ко мне:

— Плохо ведет себя наш больной: не спит, возбужден.— Засмеялся и прибавил:— Своеволен. Сладу с ним нет.

Я понимала, что доктор очень не одобряет мои посещения и будет рад, что я уеду.

— Сегодня уезжаете?— как раз спросил он.

— Сегодня вечером.

— А если бы до вечера...— вдруг быстро начал Чехов, но, не договорив, замолчал, взглянул на доктора.

— Вам отдыхать надо, отдыхать,— твердил доктор.

Надо было проститься и уйти, но я была так поглощена своими мыслями, что плохо сознавала, что делала. И я стала собирать на кровати разбросанные книги и бумаги и заворачивать их.

Случайно я обернулась и увидела, что Антон Павлович лукаво улыбается и заслоняет обеими руками цветы. Я опомнилась, засмеялась и опять положила пакет на постель.

— Выздоровливайте! — сказала я и пожала руку Антону Павловичу сверху, как она лежала на одеяле.

— Счастливого пути,— сказал он, и я быстро пошла к двери. И как в прошлый раз, он меня окликнул.

— В конце апреля я приеду в Петербург. Самое позднее в начале мая.

— Ну, конечно! — сказал доктор.

— Но мне необходимо! — заволиовался Антон Павлович.

— Конечно, конечно.

— Я говорю серьезно! Так вот, значит, в конце апреля... Я буду непременно.

— А до тех пор будем писать,— сказала я и быстро скрылась, поймав на себе строгий взгляд доктора.

На этот раз не было у меня тепла на сердце. Я отказала Антону Павловичу в его горячей просьбе: «...для меня». И вот для него я не смогла сделать такого пустяка, как остаться на один день.

«Я прошу...»

Я шла домой в очень тяжелом настроении, то обвиняя, то оправдывая себя, и вдруг увидала перед собой Льва Николаевича. Он часто гулял по Девичьему полю. Он узнал меня и остановился.

— Откуда вы? Из монастыря?

— Нет, из клиники.

Я рассказала ему про Антона Павловича.

— Как же, как же, я знал, что он заболел, но думал, что к нему никого не допускают. Завтра же пойду его навестить¹⁵.

— Пойдите, Лев Николаевич. Он будет рад. Я знаю, что он вас очень любит.

— И я его люблю, но не понимаю, зачем он пишет пьесы.

«Вот, — думала я, — человек, который беспощадно осудил бы меня, если бы знал, что во мне происходит...»

Ужасно захотелось видеть кого-нибудь, кто не был бы ни враждебен, ни безразличен к тому, что я сейчас так мучительно переживала, и я пошла к Алеше.

XIII

Ночью в вагоне я не спала. Не могла сладить со своими сложными, запутанными мыслями и чувствами. Лежала и томилась. Уж начало чуть-чуть светать, когда я вдруг очутилась на берегу моря. Море было свинцовое и тяжелое под низко нависшим тяжелым, свинцовым небом.

Волны бежали одна за другой, все с белыми сердитыми гребнями и с непрерывным грохотом разбивались почти у моих ног. Рядом со мной шел Чехов и говорил что-то, но его слов я разобрать за шумом не могла. Вдруг впереди замелькало что-то маленькое, беленькое

и стало быстро приближаться. Это был ребенок. Он бежал нам навстречу и радостно взвизгивал и подпрыгивал. Ему могло быть не больше двух-трех лет.

— Ребенок! — вскрикнул я. — Откуда здесь мог взяться ребенок? И такой прелестный и веселый!

Антон Павлович вздрогнул и остановился.

— Это не ребенок, — задыхаясь, сказал он, — нет! это не ребенок. Я знаю! Он притворяется...

— Кто? — спросила я, чувствуя, что от страха у меня отнимаются ноги.

— Какой же ребенок, — продолжал Антон Павлович и встал впереди меня, как бы заслоняя и защищая. — У него рот в крови... рот в крови.

А ребенок был уже близко, но все бежал, взмахивая ручонками, радуясь и взвизгивая.

— Надо его бросить в море! — крикнул Антон Павлович. — В море! в море! А я не могу. Не могу-у-у.

От ужаса я проснулась. Поезд с грохотом шел через мост, паровоз пронзительно свистел.

Все еще только занимался рассвет. Сколько же я спала? Минуту, не больше.

Миша увидел меня в окне вагона, вошел с носильщиком, показал ему мои вещи, схватил меня под руку и повел. Шли мы быстро, молча. Я только спросила:

— Что дети?

— Здоровы. Все хорошо.

Вышли на подъезд.

В гостинной, обнимаясь с детьми, я услышала взрыв мишиного негодования: на этот раз виновата была горничная, потому что пахло чем-то, чем не должно было пахнуть.

— Ну, здравствуй, мать! Хорошо съездила?

— Съездила хорошо, а вернулась очень неприятно.

— Ну, ладно, ладно! — сказал Миша, отмахиваясь рукой. — Что там! Иди, старуха, кофе пить! Ведите маму, детишки. Кофе горячий...

И вот опять потекла моя жизнь по старому руслу. Опять мелкие заботы по хозяйству, постоянная тревога за детей и опять мишина требовательность и раздражительность, ссоры, примирения, изредка крупные скандалы, гости, театры.

29-го я получила письмо от Антона Павловича.

«Москва 1897 г. марта 28.

Ваши цветы не вянут, а становятся все лучше. Коллеги разрешили мне держать их на столе. Вообще, вы добры, очень добры, и я не знаю, как мне благодарить вас. Отсюда меня выпустят не раньше пасхи; значит, в Петербург попаду не скоро. Мне легче, крови меньше, но все еще лежу, а если и пишу письма, то лежа. Будьте здоровы. Крепко жму вам руку. Ваш Чехов».

Мои цветы...

А мне Москва уже казалась сном. И еще казалось, что я выдумала и лестницу наверх, и маленькую палату с кроватью, столом и стулом, и милое лицо на подушке, и темные, ласковые, зовущие глаза.

И вот и сейчас лежит он все там же, и цветы мои стоят перед ним на столе, но он уже не ждет меня. Я отказалась остаться «для него» даже на один день. Он теперь понял меня до дна и грустно усмехнулся. «Одиному везде пустыня».

«Счастливого пути!» — сказал он.

О, как я теперь все иначе слышала и понимала, чем в Москве! Как я вдруг далеко, далеко отошла от Чехова! И как постепенно, незаметно я дошла до этого искреннего презрения к себе! Даже написать Чехову мне казалось невозможным.

XIV

Мне часто вспоминается рассказ Чехова. Кажется, он называется «Шуточка»¹⁶.

Зимний день. Ветер. Ледяная гора. Молодой человек и молодая девушка катаются на санках. И вот, каждый раз, как санки летят вниз, а ветер шумит в ушах, девушка слышит: «Я люблю вас, Надя».

Может быть, это только так кажется?

Они вновь поднимаются на гору, вновь садятся в сани. Вот сани перекачнулись через край, полетели... И опять слышится: «Я люблю вас, Надя».

Кто это говорит? Ветер? Или тот, кто сидит сзади?

Как только они останавливаются, так все обычно, буднично и лицо спутника равнодушно.

Я летела с горы в Москве. Я летела и раньше. Я слышала не один раз: «Я люблю вас». Но проходило

самое короткое время и все становилось буднично, обычно, а письма Антона Павловича холодны и равнодушны.

Антон Павлович не приехал весной в Петербург, осенью его послали доктора в Ниццу. Он писал мне оттуда: «За границей я проживу, вероятно, всю зиму». Писал еще: «Здоровье мое сносно по утрам и великолепно по вечерам».

Это он писал в октябре. А в начале ноября: «Пока была холодная погода, всё было благополучно, теперь же, когда идет дождь и посуровело, опять першит, опять показалась кровь, такая подлость».

Я посылала ему свои напечатанные рассказы, а он давал мне подробные отзывы.

«Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочел ваши «Забытые письма». Это хорошая, умная, изящная вещь. Это маленькая куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему вы не продолжаете именно в этом роде. Письма — это неудачная, скучная форма и притом легкая, но я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу. Гольцев был прав, когда говорил, что у вас симпатичный талаит, и если вы до сих пор не верите этому, то потому, что вы сами виноваты. Вы работаете очень мало, лениво. Я тоже ленивый хохол, но ведь по сравнению с вами я написал целые горы. Кроме «Забытых писем», во всех рассказах так и прут между строк неопытность, неуверенность, лень. Вы до сих пор не набили себе руку, как говорят, и работаете, как начинающая, точно барышня, пишушая по фарфору. Пейзаж вы чувствуете, он у вас хорош, но вы не умеете экономить и то и дело он попадает на глаза, когда не нужно, и даже один рассказ совсем исчезает под массой пейзажных обломков, которые грудой навалены на всем протяжении от начала рассказа до (почти) его середины. Затем, вы не работаете над фразой, ее надо делать — в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от «по мере того», «при помощи», надо заботиться о ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом «стала» и «перестала». Голубушка, ведь такие словечки как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте» — ведь это одно оскорбление. Я допускаю еще

рядом, «казался» и «касался», но «безупречная» это шероховато, неловко и годится только для разговорного языка, и шероховатость вы должны чувствовать, так как вы музыкальны и чутки, чему свидетели ваши «Забытые письма». А вы, не обращая внимания на мою критику, соберите еще кое-что и пришлите мне»¹⁷.

Я была плохая ученица и стала ясно понимать советы Антоиа Павловича позже, когда сама дошла до потребности «слушать» то, что я вижу, и не употреблять первые попавшиеся под перо слова, годные по смыслу, а выбирать их так, чтобы не было «оскорбления». Но несомненно, что эта потребность явилась именно из-за критики Чехова. Если я ее и не поняла нутром тогда же, то толчок она мне дала в желательном направлении и, если из меня все же ничего не вышло, то это только оттого, что я была талантливое ничтожество.

Я была убеждена, что Чехов понял это, так же, как и я, и относился ко мне иначе, чем прежде. Когда я писала ему, я чувствовала себя навязчивой, но не могла прервать переписку, как не могла бы наложить на себя руки.

На лето Антон Павлович вернулся в Россию, и в конце июля я получила от него следующее письмо:

«Гостей так много, что никак не могу собраться ответить на ваше последнее письмо. Хочется написать подлиннее, но руки отнимаются при мысли, что каждую минуту могут войти и помешать. И, в самом деле, пока я пишу эти слова «помешать», вошла девочка и доложила, что пришел больной. Надо идти.

Финансовый вопрос уже решен благополучно. Я вырезал из «Осколков» мои мелкие рассказы и продал их Сытину на 10 лет. Затем, как оказывается, могу взять тысячу руб. из «Рус. мысли», где, кстати сказать, мне сделали прибавку. Платили 250, а теперь 300.

Мне опротивело писать и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже нехватает физической гибкости.

Когда я теперь пишу, или думаю о том, что надо писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана — простите за сравнение. Противно мне не самое писание, а этот литературный entourage, от которого никуда не спрячешься и

который носишь в себе всюду, как земля носит свою атмосферу.

Погода у нас чудесная, не хочется никуда уезжать. Надо писать для августовской «Русской мысли»; уже написал, надо кончить. Будьте здоровы и благополучны. Нет места для крысиного хвоста, пусть подпись будет куцой. Ваш Чехов»¹⁸.

Я ждала августовскую книгу «Русской мысли»¹⁹ с большим волнением. В письмах Чехова я привыкла угадывать многое между строк, и теперь мне представилось, что он усиленно обращает мое внимание на августовскую книгу, хочет, чтобы я ее скорей прочла. Трудно объяснить, почему мне так казалось, но это было так. И едва книга вышла, я купила ее, а не взяла в библиотеке, как я обыкновенно это делала.

Одно заглавие «О любви» сильно взволновало меня. Я бежала домой с книгой в руке и делала предположения. Что «О любви» касалось меня, я не сомневалась, но что он мог написать?

«Вот я сейчас прочту художественную оценку своей личности,— думала я.— И ноделом».

В мишином кабинете за письменным столом я разрезала книгу и начала читать.

Любовь повара и горничной. «Она не хочет выходить за него замуж, а хочет жить «так», а он не хочет жить «так», потому что религиозен. Совсем не этого я ожидала.

Но вот Луганович приглашает к себе Алехина и появляется его жена, Аниа Алексеевна. У нее недавно родился ребенок, она молода, красива и производит на Алехина сильное впечатление. «Анна Алексеевна Луганович...» У меня тоже был маленький ребенок, когда мы познакомились с Аитоном Павловичем.

Мне сейчас же вспомнилось:

«А не кажется вам, что когда мы встретились в первый раз, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?»

Это спросил Аитон Павлович на юбилейном обеде.

И я читала нетерпеливо и жадно.

«...Мне некогда было даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни, я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе».

Через страницу, уже после второго свиданья, Алехин говорил:

«Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней...»

Тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать читать.

«Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас нехватит сил бороться с ней, мне казалось невероятным, что эта моя тяжелая грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего дома... Честно ли это?.. Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти?..»

«И она, повидимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях...»

Я уже не плакала, а рыдала захлебываясь. Так он не винил меня. Не винил, а оправдывал, понимал, горевал вместе со мной.

«...Я чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга...»

«В последние годы у Анны Алексеевны уже бывало другое настроение... она выказывала странное раздражение против меня, что бы я ни говорил, она не соглашалась со мной. Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: поздравляю вас».

О, как же. Я помню, как я «поздравила» его, когда он один раз уронил свою шапку в грязь. Ему, вероятно, вздумалось откинуть по привычке прядь волос, и он махнул рукой по шапке.

Алехин и Анна простились и навсегда в вагоне. Она уезжала.

«Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз». «Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви надо исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель, в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».

Я дочла и легла головой на книгу.

Из какого «высшего» надо исходить — я не поняла. И что более важно, чем счастье или несчастье, грех или добродетель, — я тоже не знала. Знала и понимала я только одно: что жизнь защемила меня и что освободиться от этих тисков невозможно: если семья мешала мне быть счастливой с Антоном Павловичем, то Антон Павлович мешал мне быть счастливой с моей семьей. Надо было разорвать душу пополам.

Что он хотел сказать словами: «Как ненужно, мелко и обманчиво было все то, что мешало нам любить»?

Я схватила листок бумаги и написала Антону Павловичу письмо. Что писала — я не обдумывала. Но чтобы не раздумать писать, я сейчас же пошла и бросила письмо в почтовый ящик. Уже на обратном пути я пожалела о том, что сделала. Не ласково было мое письмо.

А через несколько дней я получила ответ:

«20 августа, Меліхово. •

Я поеду в Крым, потом на Кавказ и, когда там станет холодно, поеду, вероятно, куда-нибудь за границу. Значит, в Петербург не попаду. Уезжать мне ужасно не хочется. При одной мысли, что я должен уехать, у меня опускаются руки и нет охоты работать. Мне кажется, что если бы эту зиму я провел в Москве или в Петербурге и жил бы в хорошей теплой квартире, то совсем бы выздоровел, а главное, работал бы так, что, извините за выражение, чертям бы тошно стало.

Это скитальческое существование, да еще в зимнее время — зима за границей отвратительна, — совсем выбило меня из колен.

Вы несправедливо судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы, а потом уже берет мед.

Что же касается всего прочего, — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, — могу сказать одно: чужая душа потемки.

Погода скверная. Холодно. Сыро.

Крепко жму вам руку. Будьте здоровы и счастливы.

Ваш Чехов»²⁰.

Припомнилось мое письмо.

Я благодарила за честь фигурировать героиней хотя бы и маленького рассказа.

«Я здесь встречалась с одним из ваших приятелей, о котором его жена говорит, что он делает всякие гадости и подлости, чтобы потом реально и подробно описывать их в своих романах. Конечно, в заключение он бьет себя в грудь от раскаяния.

Вы упражняетесь в великодушии и благородстве. Но, увы, тоже раскаиваетесь».

Потом были такие фразы:

«Сколько тем нужно найти для того, чтобы печатать один том за другим повестей и рассказов. И вот писатель, как пчела, берет мед откуда придется... Писать скучно, надоекло, но рука «набита» и равнодушно, холодно описывает чувства, которых уже не может переживать душа, потому что душу вытеснил талант. И чем холодней автор, тем чувствительней и трогательнее рассказ. Пусть читатель или читательница плачет над ним. В этом искусство».

А в ответе нет ни одной, ни одной язвительной, раздраженной строки. Он даже выражает желание жить в ненавистном ему Петербурге, жалуется, что надо уезжать. Хоть бы упрекнул. Хоть бы пристыдил. Как-то он написал мне: «Верьте, вы строги не по заслугам». Это, кажется, был единственный выговор за все время.

XV

Весь конец 1898 года был для меня чрезвычайно тяжелым: все трое детей заболели коклюшем, и одновременно Ниночка схватила где-то скарлатину и не успела еще поправиться, как у Левушки началось воспаление легких. Я замучилась.

В январе 1899 года все начало приходить в норму, а в самом начале февраля я получила из Ялты письмо от Чехова.

«5 февраля. Ялта.

Многоуважаемая Лидия Алексеевна, я к вам с большой просьбой, чрезвычайно скучной. Не сердитесь, пожалуйста. Будьте добры, найдите какого-нибудь человека, или благонравную девицу и поручите переписать мои рассказы, напечатанные когда-то в Петербургской

газете. И также походатайствуйте, чтобы в редакции позволили отыскать мои рассказы и переписать, так как отыскивать и переписывать в Публичной библиотеке очень неудобно. Если почему-либо эта просьба моя не может быть исполнена, то пожалуйста пренебрегите, я в обиде не буду, если же просьба моя более или менее исполнима, если у вас есть переписчик, то напишите мне, и тогда я пришлю вам список рассказов, которые не нужно переписывать. Точных дат у меня нет, я забыл даже, в каком году печатался в Петербургской газете. Но когда вы напишете мне, что переписчики есть, я сейчас же обращусь к какому-нибудь петербургскому старожилу библиографу, чтобы он потрудился снабдить вас точными датами. Умоляю вас, простите, что я беспокою вас, наскучаю просьбой, мне ужасно совестно, но после долгих размышлений, я решил, что больше не к кому мне обратиться с этой просьбой. Рассказы мне нужны; я должен вручить их Марксу на основании заключенного между нами договора, а что хуже всего — я должен опять читать их, редактировать и, как говорит Пушкин, «с отвращением читать жизнь свою».

Как вы поживаете? Что нового?

Мое здоровье порядочно, повидимому; как-то среди зимы пошла кровь, но теперь опять ничего, все благополучно.

По крайней мере напишите, что вы не сердитесь, если вообще не хотите писать. В Ялте чудесная погода, но скучно, как в Шклове. Я точно армейский офицер, заброшенный на окраину. Ну, будьте здоровы, счастливы, удачливы во всех ваших делах. Поминайте меня почаще в ваших святых молитвах, меня многогрешного.

Преданный Чехов».

Трудно передать, до чего меня обрадовало это письмо. Поработать для Чехова — какое это счастье. И все складывалось удачно: из редакции мне прислали на дом переплетенные по полугодиям комплекты газет, Миша порекомендовал мне двух переписчиков. Беда была только в том, что никто не помнил, в каком году начал писать в газете Антон Павлович. Я отправилась за справкой к старожилу — библиографу Быкову. Он был очень любезен, но ничего не помнил.

Конечно, я сейчас же написала Антону Павловичу, что начинаю орудовать, и получила от него в ответ:

«За вашу готовность помочь мне и за ваше милое, доброе письмо шлю вам большое спасибо, очень, очень большое. Я люблю письма, написанные не в назидательном тоне. Вы пишете, что у меня необыкновенное умение жить. Может быть. Но бодливой корове бог рог не дает. Какая польза из того, что я умею жить, если я все время в отъезде, точно в ссылке. Я тот, что по Гороховой шел и гороху не нашел; я был свободен и не знал свободы; был литератором и проводил свою жизнь по-неволе не с литераторами, я продал свои сочинения за 75 тысяч и уже получил часть денег, но какая мне от них польза, если вот уже две недели я сижу безвыходно дома и не смею носа показать на улицу. Кстати, о продаже. Продал я Марксу прошедшее, настоящее и будущее; совершил я это, матушка, для того, чтобы привести свои дела в порядок. Осталось у меня 50 тысяч, которые (я получу их окончательно лишь через два года) будут мне давать ежегодно две тысячи. До сделки с Марксом книжки давали мне около 3½ тысяч ежегодно, а за последний год и, благодаря, вероятно, «Мужикам», получил 8 тысяч. Вот вам мои коммерческие тайны. Делайте из них какое угодно применение, но не очень завидуйте моему умению жить. Все-таки, как бы ни было, если попаду в Монте-Карло, непременно проиграю тысячи две — роскошь, о которой я доселе не смел и мечтать. А, может быть, и выиграю?»

...Зачем я в Ялте? Зачем здесь так ужасно скучно? Идет снег, метель, в окна дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе, и я ничего не пишу»²¹.

Я лежала на полу перед развернутой книгой переплетенной газеты размером во весь лист и, мокая руку в тарелку с водой, чтобы несколько смыть с нее вековую пыль, перелистывала каждый номер, читая подписи под фельетонами.

Так как Антон Павлович не помнил ни года напечатания, ни заглавия своего первого рассказа в этой газете, мне пришлось начать с самых отдаленных времен. Изредка попадались рассказы, подписанные одной буквой «Ч», и тогда я читала их, чтобы угадать, не принадлежали ли они перу Антона Павловича.

Я спросила Антона Павловича:

— Подписывались ли вы когда-нибудь одной буквой?

Он ответил: «Не помню, матушка».

Сергей Николаевич тоже не знал.

Но рассказы «Ч» были до такой степени плохи, что я решила не обращать на них больше внимания. Таким образом, я пролистала года два без всякой пользы.

Начихалась я отчаянно. Каждая страница поднимала облако пыли.

Итак, я лежала на полу и писала, а из головы не выходило письмо Чехова.

Ведь это были горькие жалобы. А Антон Павлович не легко жаловался и тосковал. Значит же круто, тяжело ему пришлось.

Вспомнилась фраза из «О любви»:

«Я был несчастлив...»

Неужели я никогда, никогда не принесу ему ничего, кроме огорчений?

Чехов писал мне часто, но в этих письмах я уже не чувствовала призыва.

XVI

Весной мне пришлось ехать в Москву. Между прочим я рассказала Алеше, у которого остановилась, что Антон Павлович хочет купить для матери и сестры в Москве дом, но не знает, как за это приняться.

— Чего же проще, — заявил Алеша, — вот мы заготовим ему списочек домов, которые продаются и, по твоему мнению, подходящи. Укажет их нам один мой знакомый, который как раз занимается продажей и покупкой домов. Он, конечно, жулик, но меня он надуть не захочет. За это ручаюсь. Приступим?

— Ты знаешь, мне ничего не поручено.

— Ну, еще бы. Чехову это бы и в голову не пришло. Но раз он хочет купить и затрудняется, то надо помочь.— Мы оба весело смеялись.

— Люблю покупать дома и нанимать квартиры, — заявил брат. — И никогда никто не подозревает, что я забавляюсь, а на самом деле не мог бы купить и курятника. Суется, ухаживают, смотрят в глаза... А я

хожу и подробно все оглядываю. Ах, какие это здания. Один раз я чуть не дворец покупал...

Так как мне приходилось все равно много ездить по городу с тем же комиссионером, который взялся помочь мне купить нужную мне мебель для дома в деревне, то заодно я смотрела и продающиеся дома, пригодные для Чехова. Я убедилась, что мой комиссионер умеет приобретать вещи за их половинную стоимость, пользуясь ему одному знакомыми условиями, разнообразными связями, а главное, своим опытом и пониманием.

— Стараюсь для вашего брата, — часто напоминал он мне.

— А для Чехова постараетесь?

— Это уж будьте покойны. Прямо, можно сказать, подарю ему дом. Мы тоже с понятием в людях. Убыток с другого покупателя наверстаем.

Но Антон Павлович написал мне 23 марта: «Деньги мои, как дикие птенцы, улетают от меня и через года два придется поступить в философы»²².

А в апреле: «Если мать и сестра еще не отказались от мысли купить себе дом, то непременно побываю у А. на Плющихе. Если я куплю дом, то у меня окончательно не останется ничего — ни произведений, ни денег. Придется поступить в податные инспекторы»²².

Так мне и не пришлось купить Антону Павловичу дом.

В Петербурге дело с перепиской приходило к благополучному концу.

«Вы присылаете не бандероли, а тюки, — писал Антон Павлович. — Ведь марок пошло, по крайней мере, на 42 рубля»²².

В середине апреля он уже приехал в Москву. Я ему написала, что 1 мая буду проездом на вокзале, и он ответил:

«1-го мая я буду еще в Москве. Не придете ли вы ко мне с вокзала утром пить кофе? Если будете с детьми, то заберите и детей. Кофе с булками, со сливками; дам и ветчины»²².

Но мне приехать к Чеховым было очень неудобно. От поезда до поезда было часа два или немного больше, и надо было накормить всех завтраком, выхлопотать отдельное купе. Ехать на каких-нибудь четверть часа не

стоило. Так я и написала Антону Павловичу. Однако едва мы кончили завтракать, как увидали Антона Павловича, который шел, оглядываясь по сторонам, очевидно, отыскивая нас. В руках у него был пакет.

— Смотрите, какие карамельки, — сказал он подозравшись. — Писательские. Как вы думаете: удостоимся ли мы когда-нибудь такой чести?

На обертке каждой карамельки были портреты: Тургенева, Толстого, Достоевского...

— Чехова еще нет? Странно. Успокойтесь: скоро будет.

Антон Павлович подозвал к себе детей и взял Ниночку на колени.

— А отчего она у вас похожа на классную даму, — спросил он.

— Почему — классная дама?

Но он так ласково перебирал локоны белокурых волос и заглядывал в большие серые глаза, что мое материнское самолюбие успоконлось. Ниночка припала головкой к его плечу и улыбалась.

— Меня дети любят, — ответил он на мое удивление, что девочка нисколько не дичится его. — А я вот что хочу предложить вам: сегодня вечером играют «Чайку» только для меня²³. Посторонней публики не будет. Оставайтесь до завтра. Согласны?

Согласиться я никак не могла. Надо было бы везти детей, француженку и горничную в гостиницу, телеграфировать сестре в деревню, телеграфировать мужу в Петербург. Все было чрезвычайно сложно и трудно.

— Вы никогда со мной ни в чем несогласны, — хмуро сказал Антон Павлович. — Мне очень хотелось, чтобы вы видели «Чайку» вместе со мной. Неужели нельзя это как-нибудь устроить?

Но как мы ни прикидывали, все оказывалось, что нельзя.

— А у вас есть с собой теплое пальто? — вдруг спросил Антон Павлович. — Сегодня очень холодно, хотя 1 мая. Я в драповом озяб, пока сюда ехал.

— И я очень жалею, что вы приехали, — сказала я. — Еще простудитесь по моей вине.

— А с вашей стороны безумие ехать в одном костюме. Знаете, я сейчас напишу записку Маше, чтобы она

привезла вам свое драповое. Я сейчас же пошлю... Она успеет.

Мне стоило большого труда уговорить его отказаться от этой мысли.

— Так телеграфируйте мне, если простудитесь, и я приеду вас лечить. Ведь я хороший доктор. Вы, кажется, не верите, что я хороший доктор?

— Приезжайте ко мне не лечить, а погостить, — попросила я. — На это вы согласны?

— Нет, — сказал он быстро и решительно. И сейчас же перевел разговор на другое.

— Пришлось вам повозиться со мной эту зиму. Неужели вы читали все, что переписывали ваши писатели? Как мне вас было жалко. А дом-то вы мне покупали... — Он хмуро улыбнулся. — Не было у бабы заботы, да завела баба порося...

Пришел носильщик и объявил, что можно занимать места, взял багаж и пошел, следом за ним побежали дети и француженка.

Антон Павлович взял мой ручной саквояж и две коробки конфет, которые мне привезли провожающие в Петербурге. Мы тоже собрались идти, когда я заметила, что пальто его расстегнуто. Так как руки его были заняты, то я остановила его и стала застегивать пальто.

— Вот как простужаются, — сказала я.

— И вот как всегда, всегда напоминают, что я больной, что я уже никуда не гожусь. Неужели никогда нельзя этого забыть? Ни при каких обстоятельствах?

— А я вот здорова, да насилу отговорила вас посылать за теплой одеждой Марии Павловны. Вам можно заботиться о том, чтобы я не простудилась, а мне нельзя?

— Так почему же мы ссоримся, матушка, — спросил Антон Павлович и улыбнулся.

— Вы сегодня не в духе, — заметила я и, смеясь, прибавила, — хотя в новых калошах.

— Совсем не новые, — опять сердито возразил Антон Павлович.

Мы шли по платформе.

— Вы знаете: теперь уже десять лет, как мы знакомы, — сказал Чехов, — Да. Десять лет. Мы были молоды тогда.

— А разве мы теперь старые?

— Вы — нет. Я же хуже старика. Старики живут, где хотят и как хотят. Живут в свое удовольствие. Я связан болезнью во всем...

— Но ведь вам лучше.

— Оставьте. Вы сами знаете, чего стоит это улучшение. А знаете, — неожиданно оживляясь, прибавил он, — мне все-таки часто думается, что я могу поправиться, выздороветь совсем. Это возможно. Это возможно. Неужели же кончена жизнь?

Из окна купе смеялись и кивали три детских личика.

— Пойдемте в вагон, — предложил Антон Павлович. — Мало того, что у вас скверный характер, вы легкомысленны и неосторожны. Ваш костюм меня возмущает. Как вы поедете ночью на лошадях?.. Сколько верст?

Ребята обрадовались нам, как будто мы давно не видались. Антон Павлович сейчас же опять взял Ниночку на колени, а мой сын протянул Антону Павловичу книгу.

— Я ее купил здесь в киоске. Вы это читали?

Антон Павлович взял книгу и перелистал ее.

— Я эту книгу читал, — очень серьезно сообщил он. — Это сочинение Пушкина. Это хорошая книга. Ты хорошо выбрал.

Лодя просиял.

— Это стихи. Вы любите стихи, Антон Павлович?

— Да, я очень люблю стихи Пушкина.

— Чуть было не забыла отдать вам ваш последний рассказ, — спохватилась я. — Почему-то он остался...

— Воображаю, какая это дрянь. Вы его тоже читали?

— Нет, это не дрянь. Это рассказ Чехонте. Я очень люблю рассказы Чехонте. Это прекрасный писатель, — смеясь, возразила я.

— А сегодня вечером пойдет «Чайка». Без публики, только для меня. Ах, какие артисты. Какие артисты. А я сердит на вас, что вы не захотели остаться...

Послышался звонок, и Антон Павлович встал.

Мне вдруг вспомнилось прощание Алехина с Луганович в вагоне перед самым отходом поезда: «Я обнял ее, она прижалась к моей груди»... Я почувствовала, как

вдруг заколотилось сердце и будто что-то ударило в голову.

«Но мы прощаемся не навсегда,—старалась я внушить самой себе.—Возможно, что он даже придет ко мне или к Сергею Николаевичу».

Я не видела, как Антон Павлович простился с детьми, но со мной он не простился вовсе и вышел в коридор. Я вышла за ним. Он вдруг обернулся и взглянул на меня строго, холодно, почти сердито.

— Даже если заболееете, не приеду,—сказал он.— Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого... Вам не по средствам. Значит, не увидимся.

Он быстро пожал мою руку и вышел.

— Мама, мама,—кричали дети,—иди скорей, скорей...

Поезд уже стал медленно двигаться. Я видела, как мимо окна проплыла фигура Антона Павловича, но он не оглянулся.

Я тогда не знала, не могла предполагать, что вижу его в последний раз...

В эту холодную весеннюю лунную ночь в нашем саду непрерывно пели соловьи. Их было несколько. Когда тот, который пел близко от дома, замолкал, слышны были более дальние, и от хрустального звука их щелканья, от прозрачной чистоты переливов и трелей воздух казался еще более свежим и струистым. Я стояла на открытом выступе балкона, куталась в платок и глядела вдаль, где над верхушками деревьев, рассыпавшись, мерцали звезды.

Даже в теплом платке было очень холодно. Без малейшего ветра, воздух набегал волнами, и в нем, как хрустальные ледяные ключи, били соловьиные трели...

XVII

С благотворительной целью задумала издать сборник. Знакомых писателей было много, и со многими у меня были хорошие отношения. Для печатания книги я надеялась на Сергея Николаевича. Я мечтала, что и материал и издание будут непременно очень хороши, а мне все обойдется чуть не даром. Значит, моя помощь одной моей работой и хлопотами принесет немало денег.

Прежде всего я написала Чехову.

Он ответил, что в настоящее время у него нет ни одной подходящей рукописи и что он вообще моей затее не сочувствует. «Если вы не прочь выслушать мое мнение, то вот оно: сборники составляются очень медленно, туго, портят составителю настроение, но идут необыкновенно плохо. Особенно сборники такого типа, как вы собираетесь издать, т. е. из случайного материала. Простите мне, ради бога, эти непрошенные замечания, но я бы повторил их пять, десять, сто раз, а если бы мне удалось удержать вас, то я был бы искренно рад. Ведь пока вы работаете над сборником, можно иным путем собрать тысячи, собрать не постепенно, через час по столовой ложке, а именно теперь, в горячее время, пока не остыло еще желание жертвовать. Если хотите сборник во что бы то ни стало, то издайте небольшой сборник в 25—30 коп., сборник изречений лучших авторов (Шекспира, Толстого, Пушкина, Лермонтова и пр.) насчет раненых, сострадания к ним, помощи и пр., что только найдется у этих авторов подходящего. Это интересно и через 2—3 месяца можно уже иметь книгу и продается очень скоро. Простите за советы, не возмущайтесь. Кстати сказать, в настоящее время печатается не менее 15 сборников...»

Это он писал 7 февраля; а 14 февраля²⁴:

«Мн. Лидия Алексеевна. Завтра уезжаю я в Ялту. Если вздумаете написать мне, то я буду вам очень благодарен.

Если вы не издаете сборника, если так решили, то я очень рад. Редактировать и править сборники беспокойно, утомительно, доходы же обыкновенно не велики, часто убытки. По-моему, лучше всего напечатать в журнале свой рассказ, а потом гонорар пожертвовать в пользу Красного Креста.

Простите, я замерз, только что вернулся из Царицына (ехал на извозчике), рука плохо пишет, да и укладываться нужно. Всего вам хорошего, главное будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, которыми изнашиваются наши

русские умы — это еще вопрос. Крепко жму руку и шлю сердечное спасибо за письмо.

Будьте здоровы и благополучны.

Пред. А. Чехов».

Сотни раз перечитывала я это письмо. Откуда это новое настроение Антона Павловича? «Жизнь проще, не стоит мучительных размышлений...» И мне казалось, что он горько улыбается, оглядываясь в прошлое на себя.

Л. А. АВИЛОВА. «А. П. ЧЕХОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ»

Воспоминания писательницы Лидии Алексеевны Авиловой (1864—1942) публикуются по рукописи. Частично воспоминания Авиловой были напечатаны в «Русских ведомостях», 1910 г. 17 января, № 13 и в сборнике «О Чехове», М. 1910.

В собрании сочинений А. П. Чехова Гослитиздатом печатается 31 письмо Чехова Авиловой. Письма Авиловой Чехову были по ее просьбе возвращены ей после смерти Чехова и остались неизвестными.

¹ Сестра Л. А. Авиловой Надежда Алексеевна Худекова. Ее муж *Худеков* Сергей Николаевич (1837—1913), издатель «Петербургской газеты», в которой в 1885—1888 гг. печатался А. П. Чехов.

² Имеется в виду рассказ Чехова «Тоска».

³ Первое представление «Иванова» на сцене Александринского театра состоялось 31 января 1889 г.

⁴ Письмо Чехова от 19 марта 1892 г.

⁵ «Скучная история», рассказ Чехова, напечатанный в Северном вестнике, 1889 г., № 11.

⁶ Псевдоним писателя Лазарева, Александра Семеновича (1861—1927).

⁷ В Эртелевом переулке была квартира Суворина, где остановился Чехов во время своего приезда в Петербург в феврале 1895 г.

⁸ Кривенко Сергей Николаевич, публицист либерально-народнического направления. В 90-х годах был членом редакции газеты «Сын отечества».

⁹ Буренин Виктор Петрович, реакционный критик, сотрудник «Нового времени».

¹⁰ В этот же день, повидимому в ответ на письмо Авиловой, Чехов послал ей второе письмо (неопубл.), при котором и была послана, упоминаемая в воспоминаниях, книга Чехова:

«Многоуважаемая

Лидия Алексеевна!

Вы не правы, говоря, что я у Вас скучал бессовестно. Я не скучал, а был несколько подавлен, так как по лицу Вашему видел, что Вам надоели гости. Мне хотелось обедать у Вас, но вчера Вы не повторили приглашения, и я вывел заключение опять таки, что Вам надоели гости.

Буренина я не видел сегодня и вероятно не увижусь с ним, так как постараюсь завтра уехать к себе в деревню. Посылаю Вам книжку и тысячу душевных пожеланий и благословений. Пишите роман.

Искренно преданный А. Чехов».

¹¹ Фраза из рассказа Чехова «Соседи».

¹² Премьера «Чайки» в Александринском театре 17 октября 1896 г.

¹³ Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1930), писатель.

¹⁴ Корректуру повести «Мужики», которая печаталась в апрельской книжке «Русской мысли».

¹⁵ Л. Н. Толстой посетил Чехова в клинике 28 марта 1897 г.

¹⁶ Рассказ, напеч. в 1886 г.

¹⁷ Письмо Чехова от 3 ноября 1897 г.

¹⁸ Письмо Чехова от июля 1898 г.

¹⁹ Имеется в виду августовская книжка «Русской мысли» 1898 г.

²⁰ Письмо Чехова от 20 августа 1898 г.

²¹ Письмо Чехова от 18 февраля 1899 г.

²² Из писем Чехова от 23 марта, 6 апреля и 27 апреля 1899 г.

²³ См. примечание 20 к воспоминаниям Станиславского.

²⁴ Письма Чехова от 7 февраля и 14 февраля 1904 г.